
В БОЛЬШОЙ ИГРЕ
ПРАВИЛ НЕТ
ШОУ-БИЗНЕС 5
ВАЛЕРИЙ ПОЛОЖЕНЦЕВ
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Шоу-бизнес

Валерий Положенцев

Шоу бизнес. Книга пятая

«Автор»
2026

Положенцев В.

Шоу бизнес. Книга пятая / В. Положенцев — «Автор», 2026 — (Шоу-бизнес)

Предательство — штука интимная. Оно требует близости, как любовь, и невозможно без доверия, как кредит. Враги убивают в лицо — больно, но хотя бы честно, к этому можно подготовиться, этому можно даже по-своему отдать должное. Свои бьют в спину — нежно, привычным жестом, тем самым, которым вчера обнимали. Те, с кем делил тушёнку в подвале и мечту на двоих, однажды прикидывают стоимость твоих секретов — и обнаруживают, что секреты котируются выше дружбы. Значительно выше. Дружба — категория лирическая, а биржа торгует только прозой.Эта книга — о том, как охотились все. Одновременно, азартно и без лицензии.

© Положенцев В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Пропажа 8
Глава 2. Военный совет 13
Глава 3. Подпольный тираж 19
Глава 4. Возвращение блудного партнёра 25
Глава 5. Доклад генералу 32
Глава 6. Выбор, которого нет 41
Глава 7. Пираньи 48
Глава 8. Съезд на Смоленской 53
Глава 9. Четыре удара 59
Глава 10. Очередь предателей 65
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Валерий Положенцев
Шоу бизнес. Книга пятая

Пролог

или Краткое пособие по охоте на тех, кто поднялся

Выскочек не любит никто – ни сосед по лестничной клетке, ни сосед по нарам, ни даже собственное отражение в зеркале, которое каждое утро напоминает, что ты поднялся, а значит, кому-то теперь есть за что тебя ненавидеть. Зависть – чувство древнее любой религии и надёжнее любой идеологии, единственное, что объединяло советского профессора с уральским урканом, кремлёвского чиновника с сочинским таксистом, – все они одинаково скрипели зубами при виде чужого успеха, и скрип этот был слышнее государственного гимна.

Того, кто поднялся, рано или поздно опустят. Вопрос только – кто первый, и в какую дверь постучат: в парадную, с ордером, или в заднюю, с монтировкой.

Эти двое поднялись. Не на полголовы – на целый этаж, если считать от того свердловского подвала, где всё начиналось с кассетных дек и портвейна «Агдам». Построили маленькую империю звука посреди большой империи хаоса, и империя хаоса это заметила – с тем неторопливым интересом, с каким удав замечает кролика, который зачем-то научился ходить на задних лапах.

* * *

Первыми пришли те, кто приходит всегда, – с папочкой.

Тонкой, аккуратной, перевязанной казённой тесёмкой, от которой пахнет канцелярией и чужой судьбой. ФСК – свежевылупившийся наследник КГБ, ещё мокрый от околоплодных вод старого режима, – приносил такие лично, с улыбкой, от которой хотелось проверить, на месте ли почки. Не повестка, не обвинение – предложение дружбы. Той особой дружбы, где ты отдаёшь всё, а тебе обещают не посадить. Пока. Вывеска новая, аппетит прежний, методы вечные – вербовка, компромат, чай с сахаром и без выхода. Раньше искали врагов народа, теперь – источники дохода, но суть та же: государство хочет знать всё обо всех, контролировать каждого и не отчитываться ни перед кем. Спецслужбы, как крокодилы, пережили все геологические эпохи и все политические режимы – не умом, а терпением, жрут всё подряд.

Но государство хотя бы соблюдало приличия – папочки, беседы, протоколы, иллюзию законности. Приличия – единственное, что осталось от империи, как столовое серебро от разорившегося дворянина. Остальные охотники обходились без церемоний.

Конкуренты, два года точившие ножи, наконец научились ими пользоваться – не в лоб, а исподтишка, чужими руками, – свои пачкать западло, а чужих навалом, страна-то такая, где каждый продаётся. Статья в газете – пятьдесят долларов, звонок из мэрии – двести, проверка пожарной инспекции – бесплатно, по дружбе, за ответную услугу, которая обойдётся дороже любых денег, но это выяснится потом. И пока ты выживаешь, они занимают твоё место – тёплое, нагретое, пропахшее твоим потом. Зачем строить своё, когда можно отобрать чужое? Строить – долго, дорого и хлопотно, а отобрать – одно удовольствие, почти спорт, почти искусство, если делать с выдумкой.

Третьими явились бандиты – молодые, злые, пришедшие на смену старым авторитетам с их кодексами и понятиями. Старые хотя бы договаривались, соблюдали ритуалы – с ними можно было жить, как живут с хроническим заболеванием, приспособившись и зная расписание приступов. Молодняк знал один аргумент – ствол, один закон – сила, одну арифметику – всё или ничего. У кого «макаров» – тот и прав, у кого «калаш» – тот судья, присяжные и палач

в одном лице. Слово «нет» в их словаре отсутствовало – как, впрочем, и большинство других слов длиннее трёх букв.

И наконец – телевизионщики. Эти оказались страшнее всех, именно потому что не стреляли и не угрожали, а приходили с улыбкой и контрактом, от которого невозможно отказаться – не из страха, а из жадности, – предложение выглядело как подарок: партнёрство, слияние, общий бизнес, одна большая счастливая семья. Мелким шрифтом значилось другое: ты вкладываешь всё, они забирают нажитое, а тебе остаётся благодарность за то, что вообще остаёшься при деле. Телевизор – не ящик с экраном, телевизор – это власть, та самая, настоящая, не кремлёвская бутафория с трибунами и флагами, а власть над умами, над желаниями, над тем, что двести миллионов человек считают правдой, – и тому, кто держит в руках эту власть, чужой музыкальный бизнес – лёгкий салат перед жарким из нефти и алюминия.

Четыре хищника, четыре аппетита – и два кролика, которые до последнего были уверены, что они львы. Впрочем, в те годы это заблуждение было массовым, а вот выздоровление – нет.

* * *

Всё перечисленное – снаружи. С врагами всё просто: они хотят тебя сожрать, ты хочешь того же, правила ясны, и даже есть странное утешение в этой ясности – по крайней мере, знаешь, откуда прилетит.

Страшнее – изнутри. Потому что изнутри не ждёшь.

Когда партнёр молчит вторую неделю – не звонит, не заходит, смотрит сквозь тебя, как сквозь стекло, – и в его глазах появляется то, чего раньше не было: холод, расчёт, та особая прикидка, с которой мясник оценивает тушу на крюке. Когда секретарша знает больше, чем следует, и глядит так, словно уже выбрала сторону – спокойно, без колебаний, – совесть в те годы считалась непозволительной роскошью, как французские духи и итальянская обувь.

Когда женщина, которая клялась в любви, молчит по вечерам и смотрит в стену – не с обидой, не со злостью, а с тем опустошённым равнодушием, которое хуже любого скандала. Когда друг, который был ближе брата, отводит глаза. Когда команда, собранная годами, начинает расползаться – тихо, по одному, как жильцы из дома, где несущие стены дали трещину.

Предательство – штука интимная. Оно требует близости, как любовь, и невозможно без доверия, как кредит. Враги убивают в лицо – больно, но хотя бы честно, к этому можно подготовиться, этому можно даже по-своему отдать должное. Свои бьют в спину – нежно, привычным жестом, тем самым, которым вчера обнимали. Те, с кем делил тушёнку в подвале и мечту на двоих, однажды прикидывают стоимость твоих секретов – и обнаруживают, что секреты котируются выше дружбы. Значительно выше. Дружба – категория лирическая, а биржа торгует только прозой.

* * *

Эта книга – о том, как охотились все. Одновременно, азартно и без лицензии.

О маленькой империи звука, которая имела несчастье стать заметной. Заметность – приговор: пока мал и незаметен – живёшь; вырос – делись со всеми, одновременно, добровольно, с улыбкой и поклоном, – недобровольно выходит дороже – проверено теми, кто уже не может ничего подтвердить.

О том, как за крепкими стенами офиса на Якиманке трещина расползалась медленно, неотвратимо – от недоверия к молчанию, от молчания к расчёту, от расчёта к тому моменту, когда партнёр перестаёт быть партнёром и становится конкурентом. А с конкурентами – смотри выше – церемониться не принято.

О двоих, которые шесть лет строили вместе и теперь стояли по разные стороны стола, не понимая, что переговоры давно закончились – просто никто не объявил результат. Их история – тост, произнесённый на поминках по собственному бизнесу, где покойник ещё дышит, но гости уже делят наследство.

Декабрь девяносто второго. Москва.

Охотничий сезон открыт.

Глава 1. Пропажа

или Утро, когда офис встречает тебя пустыми полками

Московское утро просачивалось в офис «Серебряного диска» серыми полосами – дым сквозь щели горящего дома, первые признаки болезни, которую ещё можно не замечать, но уже нельзя отрицать. Декабрь выдался мерзким: слякоть под ногами, смог над головой, ледяная морось в лицо – и всё это одновременно, – московская зима полумер не знает. Пахло застоявшимся кофе, сваренным ещё вчера и забытым на плите, сигаретным дымом, пропитавшим стены намертво, как идеология – мозги старшего поколения, и страхом – запахом, который появляется в помещениях, где люди перестали верить в завтрашний день и начали считать, сколько им осталось.

Запах этот не спутаешь – кисловатый, потный, стыдный, – и кто его учуял хоть раз, тот узнает в любом офисе, в любой приёмной, в любом коридоре власти, где люди улыбаются друг другу и думают о том, как перегрызть глотку ближнему своему. Молодые всегда думают, что бесстрашны, – на самом деле просто не умеют распознавать собственный страх, принимают его за азарт, за кураж, за адреналин, которым кормятся, как наркоманы дозой. Страх приходит позже, когда становится понятно, что проиграть можно не только деньги, но и жизнь, – да к тому времени одно от другого уже не отличишь.

За окнами на Якиманке мужик в офицерской шинели без погон торговал с раскладного столика самодельными календарями – на обложке голая девица верхом на танке, подпись «С Новым 1993-м!», и мужик орал прохожим «Налетай, братва, последний год живём!» таким весёлым голосом, что непонятно было – шутит или знает что-то, чего не знают другие. Рядом бабка в пуховом платке продавала сигареты поштучно из кошёлки, и к ней стояла очередь длиннее, чем к мужику с календарями, – голые девицы на танке давно никого не удивляли, а сигарета за пятьсот рублей, когда в кармане ровно пятьсот, – это вопрос жизни и смерти, и выбор очевиден.

Тишина в офисе стояла неестественная, гнетущая – такая бывает на поле боя после артобстрела, когда ещё не осела пыль и непонятно, кто выжил, кто ранен, кто не встанет. Настенные часы над дверью показывали половину девятого и не двигались – кто-то забыл их завести, а может, время здесь действительно остановилось, как останавливается оно всегда, когда рушится мир, когда привычное превращается в невозможное, когда человек, которому ты доверял, уносит с собой всё, что у тебя было. Строишь годами, теряешь за ночь, и осколки не склеиваются.

* * *

Валера вошёл так, что казалось – нёс на плечах не только весь офис, но и всю свою жизнь – тридцать пять лет ошибок, иллюзий, несбывшихся надежд. Остановился у порога, не узнавая места, где провёл последний год, где строил то, что казалось империей, а оказалось декорацией – красивой, убедительной, но без единого несущего столба. Машинально поправил манжету рубашки – белоснежной, накрахмаленной, последнее, что держалось, – и этот жест выдал его с головой: всё так же пытается сохранить лицо, всё так же верит, что внешний вид что-то значит, когда внутри уже ничего. От него тянуло коньяком и отчаянием – тем особым коктейлем, который в тот декабрь подавали в каждом втором кабинете, бесплатно и без ограничений, пей – не хочу, только не захлебнись.

В приёмной было человек пятнадцать. Девочка на ресепшен красила ногти – медленно, сосредоточенно, язык прикушен от усердия, – и лак на безымянном пальце лёг криво, – руки всё-таки тряслись. Менеджер у окна набирал номер, слушал гудки, клал трубку – и набирал тот же номер снова: звонить было некому, но сидеть без дела при начальстве страшнее, чем звонить в пустоту. Бухгалтерия в своём углу шелестела ведомостями – тихо, ритуально, как

шелестят молитвенниками в церкви, когда молиться уже не о чем, но привычка сильнее отчаяния. Семьдесят лет советской власти выдали нации единственный полезный диплом: умение выглядеть занятым, ничего не делая. Экзамены принимала жизнь, и пересдач не было.

Валера чувствовал их взгляды – быстрые, косые, вороватые. Девочка спрятала лак в ящик стола, менеджер вжал голову в плечи, кто-то в дальнем углу торопливо свернул газету с объявлениями о вакансиях. Лояльность заканчивается там, где начинается голод. А голод стоял у каждой двери и заглядывал в каждое окно.

* * *

Елизавета сидела за своим столом у входа в его кабинет – прямая спина, ровный взгляд, одна во всём офисе, кто не отвёл глаз, когда он вошёл. Перед ней лежал раскрытый ежедневник и чёрная записная книжка – толстая, потрёпанная, с алфавитным указателем, куда она заносила то, что не годилось для официальных записей: наблюдения, подозрения, факты, которые могли пригодиться потом, когда придёт время счётов. А время счётов приходит всегда – вопрос только, кто будет считать, а кто расплачиваться.

В пепельнице тлел окурок – она затушила его аккуратно, методично, как делала всё в своей жизни, – в каждом жесте расчёт и план. За соседним столом кто-то смахнул локтем кружку – она грохнулась об пол, кофе расплескалось коричневой кляксой, никто не кинулся вытирать. Елизавета не вздрогнула. Она выглядела так, что становилось ясно: давно ждала этого ограбления и теперь проверяла, всё ли украли или что-то забыли.

– Валерий Иванович, – ровно, без эмоций, тоном диктора, зачитывающего сводку потерь после битвы, которую уже проиграли.

– Всю ночь звонила. Пыталась найти Сергея.

Она сделала паузу – короткую, рассчитанную, – и в приёмной замерли, перестали шелестеть бумаги, замолк стрекот «Электроники» на столе бухгалтера. Тишина сгустилась, как туман над болотом, и в этой тишине каждое слово падало, как камень в колодец – гулко, окончательно, безвозвратно.

– Домашний молчит. Семь гудков, три коротких – как вы учили, чтобы он знал, что это свои. Всю ночь. Каждые полчаса. Если он жив – он не хочет, чтобы его нашли. Если мёртв – ему уже всё равно.

Где-то в глубине коридора хлопнула дверь – все вздрогнули, как от выстрела. Ложная тревога: уборщица с ведром, шаркающая тапками по линолеуму. Нервы у всех были натянуты так, что лопнуть могли от любого звука – от телефонного звонка, от скрипа двери, от чужого кашля.

* * *

Валера подошёл к её столу – три шага, давшиеся ему труднее, чем марафон, труднее, чем вся его прежняя жизнь. На полированной поверхности – аккуратная стопка папок в строгом порядке, раскрытый ежедневник с записями за сегодня, чашка из-под кофе с засохшей коричневой полосой на дне. Кофе она пила чёрный, без сахара, без молока – и жизнь свою заваривала по тому же рецепту. Без иллюзий, без украшений, без той сладкой лжи, которой большинство приправляет существование. Правда горька, но от неё хотя бы не тошнит по утрам.

– А ещё? – голос сел, превратился в хрип – кричал всю ночь, или рыдал, или то и другое вместе.

– Звонила в рестораны. В те, что он любит. «Прага», «Арагви», «Узбекистан» – везде, где его знают в лицо и наливают в долг. Нигде не появлялся. Звонила знакомым – тем, кому он мог позвонить сам. Никто ничего не слышал. Или делает вид, что не слышал, – в наше время это одно и то же. Звонила в Свердловск.

Валера вздрогнул – как от удара, как от ожога, когда произносят имя, которое не хотели слышать:

– В Свердловск? Лиза, ты серьёзно? – он невесело усмехнулся, и в этой усмешке было больше горечи, чем веселья, больше боли, чем иронии. – С полумиллионом в кармане – обратно на Урал, к родным берёзкам, к маминым пирогам? Сергей – кто угодно, но не идиот. Преступник возвращается на место преступления только в детективах Агаты Кристи и в кино для домохозяек. В жизни он бежит туда, где его не знают, не ищут и знать не хотят.

– Надо было проверить все варианты. Даже глупые. Особенно глупые – умные проверят без меня.

Она потянулась к пачке сигарет на краю стола, вытряхнула одну, прикурила – спичка вспыхнула и погасла, вторая сломалась, третья наконец зажглась. Пальцы не дрожали, но спички выдавали то, что пальцы скрывали.

Кто-то в приёмной нервно хихикнул – истерично, сдавленно, как хихикают на поминках от невыносимости происходящего, когда смех – не радость, а единственная альтернатива воплю. Валера резко обернулся, и смех оборвался мгновенно – ножом срезали.

Он тяжело выдохнул, потёр виски – голова раскалывалась, как с похмелья, – только хуже: от похмелья хотя бы остаются приятные воспоминания о вчерашнем, а от этой ночи не осталось ничего, кроме тоски и ужаса. На секунду прислонился к её столу – короткое движение слабости, которое он позволил себе только при ней. Перед остальными нужно было держать лицо, а с ней – можно было не притворяться. За стеной зазвонил телефон – долго, надрывно, никто не снимал, и этот звон висел в воздухе, как сирена на тонущем корабле.

– Пятьсот восемьдесят тысяч долларов, – прошептал он, больше для себя, чем для неё, проговаривая вслух, чтобы поверить, чтобы слова сделали реальным то, что разум отказывался принимать. – Больше полумиллиона наличными. Всё, что было в сейфе. Фундамент, который оказался песком.

Елизавета молчала. Что тут скажешь? Что деньги – дело наживное? Что Сергей не мог их украсть – они же дружили, начинали вместе, прошли огонь и воду? Что всё образуется, наладится, вернётся к прежнему? Утешают ложью, а правду говорят только врачи – и то лишь тогда, когда ложь уже не помогает.

Она вспомнила Булгакова – любимого, зачитанного до дыр: «Никогда и ничего не просите. Сами предложат и сами всё дадут». Сергей не просил – сам взял, только Маргарита хотя бы улетела красиво, на метле, над ночной Москвой, в бессмертие, а этот уполз с чемоданом, как таракан в щель, когда включают свет, – без метлы, без полёта, без величия, оставив после себя пустой сейф и растерянные глаза тех, кто ему верил.

* * *

– Собирай всех ко мне. Через пять минут, – голос Валеры стал твёрже, он выпрямился, маска директора вернулась на место – знакомая маска, надеваемая каждое утро вместе с галстуком, сидевшая так плотно, что он сам иногда забывал, где кончается роль и начинается человек. А может, роль и была человеком – попробуй разберись, когда играешь так долго. – Всех ключевых. Андрея – пусть заикается при мне, а не за моей спиной, там у него лучше получается. Юристов – они хотя бы свои страхи отрабатывают, за это и платим. Финансистов – посчитаем, сколько нам осталось жить. Математика смерти – единственная точная наука. Всех, кто не написал заявление. Хотя, – он криво усмехнулся, – после сегодняшнего дня желание появится у многих.

Он развернулся, собираясь идти в кабинет. У самой двери остановился, обернулся через плечо – жест, который должен был выглядеть небрежным, но выглядел вымученным:

– И сама… съезди в «Метелицу». На Новый Арбат. Может, он там. В шампанском топится. Или в блудницах. Сергей всегда любил топиться красиво.

«Метелица». Елизавета знала это место – слишком близко, слишком больно. Блины на завтрак после ночи, которая не должна была случиться, и «давай забудем» вместо прощания – как в плохом кино, только без хэппи-энда. Хэппи-энды бывают только в голливудских сцена-

риях, а здесь всё заканчивается либо плохо, либо хуже. Третьего не дано – разве что смерть, но это не финал, это титры.

Она не шелохнулась. Смотрела на него тем же ровным, оценивающим взглядом, каким смотрят на пациента, который ещё не знает свой диагноз, но врач уже всё понял и теперь думает, как сообщить, какими словами обернуть правду, чтобы она не резала так больно.

– Нет.

Одно слово. Первое «нет» за всё время работы – больше года, бесчисленные переработки, бессонные ночи, поручения, которые не входили ни в какие должностные инструкции и ни в какие представления о человеческом достоинстве. В приёмной перестали дышать. Окурок в пепельнице бухгалтера догорел до фильтра – тонкая струйка дыма поднималась к потолку, единственное, что двигалось в комнате.

– Что – нет? – Валера медленно повернулся к ней всем корпусом, как танк поворачивает башню. – Лиза, я, кажется, ослышался. У нас катастрофа. Партнёр исчез с деньгами. Корабль тонет. А ты мне говоришь «нет»?

– Не поеду. Не буду. И не хочу – если вас интересует моё мнение, которое вас никогда не интересовало, но я всё равно его выскажу – терять мне уже нечего.

Она откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди – поза защиты или вызова, а может, и то и другое вместе.

– Лиза…

– Елизавета Владимировна, – поправила она, и каждое слово звенело сталью, той, что не гнётся и не ломается, а если ломается – то сразу насмерть. – И я сказала – нет. «Frankly, my dear, I don't give a damn». Помните, чем кончилось? Скарлетт осталась одна, но хотя бы с Тарой. А у меня и Тары нет. Только эта работа, которая не стоит того, чтобы унижаться. Унижение – товар скоропортящийся. Сегодня проглотил, завтра стошнило.

* * *

Валера смотрел на неё как на чужую – где послушная помощница, готовая работать по шестнадцать часов в сутки? Москва меняла людей – быстро, жёстко, необратимо. Впрочем, людей меняет не город. Людей меняют деньги и обиды, а обид за два года накопилось достаточно, чтобы заполнить Москву-реку от истока до устья и ещё осталось бы на Яузу.

– Что между вами произошло? – вопрос вырвался помимо воли, и Валера тут же пожалел, что спросил. Есть вопросы, на которые лучше не знать ответа. Есть двери, которые лучше не открывать. Есть правда, которая убивает вернее лжи.

Елизавета дёрнула плечом – устало, безразлично. Затянулась сигаретой, выпустила дым в потолок – медленно, тонкой струйкой, как выпускают слова, которые не хочется произносить:

– Ничего. Абсолютно ничего не произошло. В этом и проблема. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Лев Николаевич знал, о чём писал, – он вообще много чего знал, недаром борода такая длинная. Мы даже на несчастливую не потянули – просто никакая. Ноль. Прочерк в графе «личная жизнь». Даже на трагедию не хватило – так, фарс какой-то.

– Хорошо. Тогда собери людей. Это ты можешь?

– Могу. Это входит в мои прямые обязанности согласно трудовому договору. «Noblesse oblige» – как говорили французы, перед тем как им начали рубить головы. Дворянство обязывает, а потом дворянство платит. Обычно – головой.

Валера развернулся и ушёл в кабинет, хлопнув дверью сильнее, чем собирался. Стакан на подоконнике качнулся, но не упал – как всё в этом офисе, что ещё держалось по инерции и по привычке. За спиной – молчание, но он чувствовал её взгляд сквозь закрытую дверь, сквозь стену, сквозь всё. Холодный взгляд человека, который больше не служит, а наблюдает. Ждёт. Считает. И записывает – в ту самую чёрную книжку, которую никому не показывает и которая когда-нибудь станет обвинительным заключением или мемуарами, смотря как повернётся.

* * *

Дверь за ним ещё не успела закрыться, а в приёмной уже зашептались – торопливо, вполголоса, прикрывая трубки ладонями. Кто-то набирал номер знакомого кадровика, кто-то листал записную книжку, кто-то просто сидел и считал, на сколько хватит отложенного. Белый шум офисного существования, создающий иллюзию нормальности, – но за этим шумом, если прислушаться, слышалось другое: шорох людей, ищущих выход. Елизавета встала, одёрнула пиджак и начала обзванивать кабинеты:

– Андрей Николаевич? Срочное совещание у директора. Да, прямо сейчас. Да, я понимаю, что вы только приехали. Пять минут. Нет, не знаю, о чём. Знала бы – не работала бы секретарём, а писала бы мемуары на Лазурном берегу.

Говорила спокойно, деловито – профессиональным тоном, который не подводит даже тогда, когда внутри всё горит, когда хочется кричать, бить посуду и требовать справедливости, которой не бывает. Но те, кто стоял близко, видели – костяшки пальцев, сжимающих трубку, побелели от напряжения – так белеют у тех, кто держится из последних сил.

Положила трубку. Открыла чёрную книжку. Записала аккуратным почерком отличницы: «8:47. В.И. – совещание. С.М. – не найден. Сейф пуст. Крысы побежали».

Подумала секунду – перо зависло над страницей – и добавила: «И я – тоже крыса. Только ещё не решила, куда бежать. Выбор невелик: в огонь или в воду. Оба варианта – мокрые».

Полмиллиона. Коробка из-под ксерокса, в которую он сложил всё и вынес под мышкой, как выносят мусор. Человек, которому она верила – может, даже любила, хотя в этом не призналась бы и под пытками. Доверие – единственная валюта, которая не подлежит деноминации: или есть, или нет, и если нет – никакой курс не поможет. Он обнулил её доверие за один вечер. Остальное – цифры.

Ни один институт к такому не готовил, и ни один диплом ещё никого от этого не спас.

Глава 2. Военный совет

или Подсчёт потерь на пепелище

Через десять минут кабинет Валеры напоминал штаб разгромленной армии – с той существенной разницей, что в настоящем штабе хотя бы знают, кто враг, откуда ждать удара, куда отступать. А здесь враг оказался партнёром, удар пришёл изнутри, и отступать было некуда, – за спиной только стена, а за стеной Москва, которой нет дела ни до кого, кроме себя самой. Большому городу чужие катастрофы – фон, шум за окном, помеха между утренним кофе и вечерней водкой.

Партнёр становится врагом так часто, что впору вносить это в договор отдельным пунктом: «В случае предательства стороны обязуются…» – и дальше что? Обязуются простить? Забыть? Отомстить? Ничего они не обязуются: когда предают – договоры не работают, замки не держат, законы не спасают. Единственное, что работает всегда – это человеческая жадность, и на неё можно положиться, как на гранитную скалу.

Накурили так, что хоть топор вешай – сизый дым слоился под потолком, лез в глаза, царапал горло, и никто не открывал окно, хотя форточка была рядом, хотя за ней во дворе собачница в норковом берете выгуливала пуделя, и пудель, стриженный подо льва, жался к ноге хозяйки и дрожал, – минус пять не температура для львов, даже поддельных. Дым – он как слова утешения: ничего не меняет, но создаёт иллюзию деятельности.

Стол красного дерева – громадный, директорский, купленный у разорившегося кооператора за бесценок, – расчистили от бумаг, свалив лавину документов в угол, где они осели бумажным сугробом. Вокруг расселись те, кто не сбежал и не предал – такие люди ценились на вес золота, которого, впрочем, тоже не было, как не было ничего, кроме долгов и иллюзий.

* * *

Андрей сидел сгорбившись, крутил карандаш между пальцами – быстро, нервно, как крутят чётки, теребя край скатерти, когда невыносимо сидеть на месте, а встать и уйти нельзя, – уйти некуда, а высидеть невозможно, и этот замкнутый круг сводит с ума вернее любой пытки. Карандаш хрустнул, сломался пополам – Андрей посмотрел на обломки так, точно они предсказали ему судьбу, и тропинка эта была незавидной. Взял другой из стаканчика на столе, но руки дрожали, и заикание, почти побеждённое за два года работы, вернулось с удвоенной силой – верный признак: организм понял раньше разума, что дело пахнет не просто керосином, а напалмом.

Рядом расположился Борис Семёнович – снимал очки в толстой роговой оправе, протирал мятым платком, надевал, снова снимал: руки требовали дела, а голова отказывалась верить в цифры, которые сама же и насчитала. «Беломор» дымился в жёлтых от никотина пальцах; пепел сыпался мимо пепельницы – на документы, на стол, на брюки, купленные при Андропове и с тех пор не менявшиеся, – хорошие вещи служат долго, а в плохие времена дольше. Когда рушится главное, мелочи перестают замечать, и это, пожалуй, единственное преимущество катастрофы – она освобождает от необходимости следить за пепельницей.

Напротив сидел Михаил – листал бумаги, не читая, нервный тик человека, понимающего: никакие бумаги не спасут, когда против тебя играет не закон, а сама эпоха. Время от времени он косился на портфель в углу, где лежала фляжка с коньяком, и считал минуты до момента, когда можно будет глотнуть, не вызывая осуждения. Да и осуждать за выпивку было некому – пили все, от министров до дворников, и разница была только в качестве напитка и в количестве поводов.

* * *

Дверь открылась без стука – так входят только те, кому можно, чья должность позволяет, кто точно знает себе цену и не собирается её снижать – тем более когда цены на всё остальное падают.

Елизавета вошла с подносом – пластиковым, с отбитым уголком, ещё советским, из тех, что переживут и этот кризис, и следующий, и вообще всё, – пластик делали на века, в отличие от экономики. Растворимый кофе в разномастных чашках, сахар в пакетиках из «Макдоналдса» – маленький трофей из нового мира, который пришёл вместе с безработицей и свободой, причём непонятно было, чего больше и что страшнее: первой, от которой не знаешь куда деться, или второй, от которой деться некуда вовсе.

Поставила на край стола, окинула собравшихся тем быстрым цепким взглядом, каким санитарка в полевом госпитале оценивает поступивших – кому ещё можно помочь, а на кого не стоит тратить бинтов: у Андрея руки ходили ходуном, карандаш плясал между пальцев, Борис Семёнович ронял пепел на колени и не замечал, Михаил прижимал портфель к груди, точно в нём лежало нечто способное защитить от реальности, – а реальность была такова, что защищаться было нечем и не от чего, – враг давно внутри.

– Кофе. Сахар. Борис Семёнович, валокордин в верхнем ящике, вы знаете где. И не делайте вид, что вам не нужно – я вижу, как у вас руки трясутся, так трясутся только перед инфарктом или после него.

Затянулась сигаретой, выпустила дым в потолок, к лампе дневного света, которая мигала и гудела, как умирающая муха в банке.

– Что-нибудь ещё нужно? Или, как говорил Лев Николаевич, «всё смешалось в доме Облонских»? Только у Облонских хотя бы дом был, а у нас и дома скоро не будет, если верить тому, что я слышала в коридоре. Если нужны услуги похоронного бюро – там сейчас скидки, не сезон, клиентов мало, конкуренция высокая.

– Свободна, – Валера махнул рукой, и жест этот вышел таким вялым, что рука упала на подлокотник и осталась лежать – так машут не подчинённым, а мухам, которых уже нет сил прихлопнуть.

Елизавета пожала плечами – мол, я предупредила, моё дело маленькое, – черкнула что-то в блокноте и вышла, плотно прикрыв дверь. За такими дверями решаются судьбы: чужие – быстро, свои – быстрее, и никогда не знаешь, на какой стороне двери окажешься, когда она захлопнется.

* * *

Валера стоял у окна, спиной к собравшимся, – лопатки торчали сквозь пиджак, плечи подняты к ушам, пальцы сцеплены за спиной так, что побелели костяшки. За стеклом, прямо под окнами, двое грузчиков в телогрейках перетаскивали из фургона картонные коробки с надписью «Invite» – порошковый сок, новая религия страны, победившей дефицит и проигравшей всё остальное, – и один уронил коробку в лужу, и второй заорал на него так, будто в ней было не химическое пойло, а его последняя надежда. а может, и была – грузчик получал больше доцента, и терять эту работу было страшнее, чем учёному – кафедру.

Повернулся не сразу – сначала замер, потом повёл плечом.

– Ситуация катастрофическая. Можно, конечно, называть её «сложной» или «непростой» – у нас любят эвфемизмы, ими здесь лечат всё, от насморка до расстрела, ими прикрывают любую правду, как фиговым листком, – но давайте называть вещи своими именами. Катастрофа. Полная. Окончательная. Бесповоротная. Такая, после которой либо встаёшь и идёшь дальше, либо ложишься и ожидаешь траурного марша.

Обвёл всех взглядом – медленно, задерживаясь на каждом, и от этого взгляда Андрей съёжился над блокнотом, Борис Семёнович затянулся «Беломором» так глубоко, словно надеялся спрятаться в табачном дыму, а Михаил непроизвольно сглотнул – кадык дёрнулся, как у школьника перед вызовом к доске, только доска эта была размером со всю оставшуюся жизнь.

Валера сжал переносицу двумя пальцами – головная боль не отпускала с той самой минуты, когда он открыл сейф и увидел пустоту – ту, от которой не остаётся даже обломков.

– Пятьсот восемьдесят тысяч долларов. Всё, что было. Сергей взял и исчез. Можно сказать – украл. Можно сказать – забрал своё, свою долю, своё право. Граница между этими словами всегда была размытой – попробуй разберись в стране, где честным быть невыгодно, а нечестным – опасно.

Повисла тишина – та особая, в которой слышно, как падают карьеры и рушатся судьбы, как трещит по швам то, что строилось годами, как уходит в песок то, во что верилось. Все они верили в партнёрство, как дети верят в бессмертие, – ещё не хоронили, ещё не знали, что в бизнесе, как в браке: клятвы произносятся навсегда, а действуют – до первого серьёзного искушения. Шестьсот тысяч долларов – искушение смертельное.

– М-может, он не сбежал? – голос Андрея дрогнул, слова давались с трудом, спотыкались друг о друга. – М-может, у него действительно д-дело? Он же г-говорил про Свердловск, про к-какие-то переговоры…

– Дело? – Борис Семёнович усмехнулся горько, но смешок тут же обернулся кашлем – сухим, надрывным, курильщицким, который приходит после сорока лет «Беломора» и не уходит уже никогда.

– Какое дело, Андрюша? Схватил бабки и дал дёру. Классика жанра, учебник по подлости, глава первая, параграф первый. Я же говорил – нельзя доверять такие деньги человеку с такой биографией. Сколько раз говорил. Но кто меня слушал? Кто вообще слушает стариков в стране, где старость не уважают, а молодость не берегут?

– Он не вор!

Валера ударил ладонью по столу – сильно, больно, так что чашки подпрыгнули и кофе плеснул на бумаги, одним пятном на документах, которые и так уже ничего не стоили. Михаил вжался в кресло. Борис Семёнович выронил сигарету и полез поднимать, обжигая пальцы, но даже не заметил – физическое меркло перед пониманием того, что всё кончено.

– Он мой партнёр, – голос Валеры дал трещину, как даёт трещину лёд под ногами слишком долго стоявшего на одном месте. Верил, что лёд выдержит, слишком долго не замечал, как он истончается под ногами… – был партнёром. От Свердловска до Москвы. От кассет в гаражах до офиса на Якиманке. Шесть лет. Шесть лет, чёрт возьми. Шесть лет – в мусорную корзину, вместе с доверием, верой в людей и прочими глупостями, на которые я себя покупал.

Одёрнул пиджак. Взял себя в руки – единственное, что можно было взять в этом кабинете, где всё остальное уже отняли или вот-вот отнимут.

* * *

– Я не буду спрашивать, кто виноват. Этот вопрос бессмыслен – виноваты всегда все, включая тех, кто ещё не родился и уже заранее виноват в том, что родится в эту эпоху. Вопрос другой: что делать? Борис Семёнович, цифры.

Финансовый директор встал, разложил на столе бумаги с тем выражением лица, с каким патологоанатом достаёт инструменты перед вскрытием – работа есть работа, но это не значит, что она должна нравиться. Калькулятор щёлкал в его руках, отбивая ритм похоронного марша.

Подсчёт убытков – единственная отрасль российской экономики, которая никогда не знала простоев. Заводы стояли, шахты закрывались, колхозы превращались в пустыри – а бухгалтеры считали, считали, считали: сколько потеряли, сколько украли, сколько ушло в песок. Страна, которая семьдесят лет считала трудодни и центнеры с гектара, в одночасье перешла на доллары и убытки – и выяснилось, что второе получается значительно лучше первого.

– На счетах – двести три тысячи. Наличкой – восемнадцать. Дебиторка – триста двадцать, но это два-три месяца ожидания, если дождёмся, если должники сами не обанкротятся, если вообще кто-то кому-то что-то отдаст – неотдача долгов давно стала национальным видом спорта.

– Долги?

– Инкомбанк – сто двадцать тысяч, срок через неделю, и эти ждать не будут, эти придут с бейсбольными битами и вежливыми улыбками. Типография – сорок. Завод – восемьдесят. Аренда – тридцать в месяц. Зарплата – пятьдесят, если платить, а не платить уже нельзя – люди разбегутся, хотя они и так разбегутся, только позже.

Он снял очки, протёр платком – платок был мятый, очки были грязные, и вся эта процедура не имела никакого смысла, кроме того, чтобы занять руки.

– Дебет с кредитом не сходится. Как у покойника пульс с дыханием. Как у алкоголика трезвость с реальностью. При текущих расходах и без новых поступлений – неделя. Максимум две. Потом – либо чудо, либо похороны, и на чудо я бы не рассчитывал, – чудеса здесь случаются, но всегда с кем-то другим.

Борис Семёнович был прав – чудес не бывает, бывают совпадения, и совпадения эти, как правило, совпадают не в твою пользу. Но молодость и наглость – два качества, которые заменяют ум ровно до тех пор, пока не потребуется ум, и тогда выясняется, что замена была временной, как всё хорошее здесь. Они думали, что неделя – это много, что за неделю можно перевернуть мир. Мир перевернулся сам – только не в ту сторону.

* * *

– А Мальцев? – Михаил оторвался от бумаг, в которые смотрел, не видя. – Он же предлагал…

– Предлагал нас купить, – Валера усмехнулся криво, той усмешкой, которая хуже любого плача. – За копейки. Точнее – за долги. Забрать артистов, забрать контракты, забрать всё, что мы строили, а нас – на улицу, с волчьим билетом и репутацией, которую в визитку не впишешь. Это не помощь. Это рейдерский захват с улыбкой, это стервятник, который кружит над умирающим и ждёт, когда можно будет приступить к трапезе.

Мальцев позвонил вчера. Сам. Набрал номер и сказал: «Валера, мы же взрослые люди. Зачем тонуть, когда можно договориться?» Голос мягкий, участливый, – так хирург рекомендует ампутацию. Потом помолчал, послушал дыхание в трубке и добавил: «Я подожду. Я терпеливый, ты знаешь». Он и правда умел ждать – этому учат в комсомольских коридорах, где подставленная вовремя подножка ценится выше любых дипломов.

– Работаем, – Валера выпрямился, одёрнул пиджак, сцепил руки за спиной, и перед ними стоял уже другой человек – тот, что когда-то выбрался из мытищинского ДК с его пыльными портьерами и дохлым магнитофоном на Якиманку, и этот не собирался подыхать, пока стены не рухнут ему на голову, а может, и тогда не собирался. – Каждый на своём участке. Андрей – обзваниваешь дистрибьюторов. Выбиваешь предоплаты. Обещай что угодно – горы золотые, светлое будущее, место в раю рядом с апостолом Петром. Борис Семёнович – ищите деньги. Ломбарды, частные кредиторы, хоть чёрт лысый с процентами. Михаил – готовьте документы на всякий случай, но молитесь, чтобы они не понадобились.

– А вы?

– Буду искать Сергея.

Он помолчал, глядя в окно: внизу мальчишка лет двенадцати крутил напёрстки на перевёрнутом ящике, и трое взрослых мужиков проигрывали ему деньги с тем восхищённым остервенением, с каким проигрывают только тому, кто талантливее, – и Валера подумал о Сергее – тот был именно такой, напёрсточник от бога, только вместо шарика у него были слова, а вместо ящика – любой стол переговоров.

– Без него мы долго не протянем. Сергей умел то, чего не умеет никто из нас, – превращать воздух в деньги. Это не метафора, это констатация факта, это то, чему нельзя научиться, с чем нужно родиться. Он мог войти в кабинет к человеку, который твёрдо решил ему отказать, и выйти с контрактом, с деньгами, с улыбкой на лице. Мог договориться с теми, с кем

договариваться нельзя, мог найти выход там, где выхода нет. Нам сейчас нужен именно выход. Срочно. Вчера.

Не договорил – да и не требовалось: Борис Семёнович закрыл блокнот с цифрами медленно, аккуратно, с видом человека, дочитавшего книгу до последней страницы и знающего, что продолжения не будет, Михаил допил остывший кофе одним глотком, Андрей уставился в потолок, точно ожидая оттуда спасения, – но с потолков здесь падают только побелка и иллюзии, причём одновременно. Все видели такое не раз, слышали ещё чаще, и каждый раз думали, что с ними не случится. А оно случилось.

Доверие – роскошь, которую позволяют себе только очень богатые или очень глупые. Богатые могут позволить потерять – глупые не понимают, что потеряют. Все остальные живут по принципу «доверяй, но проверяй», изобретённому задолго до Рейгана и Горбачёва, – русская народная мудрость, единственная, которая реально работает, в отличие от Конституции, Уголовного кодекса и десяти заповедей, вместе взятых. Рукопожатие никогда не стоило дороже перчатки, в которую оно упаковано, – но каждое поколение заново убеждается в этом на собственной шкуре, – чужой опыт не усваивается. Только свой. И только через боль.

* * *

Расходились молча – так расходятся те, кому нечего сказать друг другу, – главное уже сказано, а всё остальное лучше оставить при себе, особенно в стране, где слова стоят дешевле воздуха, а молчание – дороже золота.

Андрей вышел первым – сунул блокнот под мышку и зашагал по коридору, набирая в голове список звонков, которые ничего не дадут, но делать их всё равно придётся, – надежда умирает последней, а иногда и она не умирает, а притворяется мёртвой. На лестнице остановился, привалился к стене и подумал о матери в Чертанове – обещал ей стиральную машину к Новому году, «Индезит», импортную, за сто двадцать долларов, мать всю жизнь стирала руками, и руки у неё были красные, распухшие, страшные, – какая теперь машина, какой Новый год, какие сто двадцать долларов, когда непонятно, будет ли зарплата за декабрь. А главное – кто возьмёт заику из Чертанова, если контора рухнет? Валера взял. Один из всех. И вот теперь – блокнот, коридор, список звонков, которые ничего не дадут.

Борис Семёнович потоптался у двери, хотел что-то сказать – не «держись» и не «всё будет хорошо», а спросить, заплатят ли за декабрь, – внучке Катеньке нужны лекарства от астмы, а аптека на Пятницкой валюту не принимает, а рубли тают быстрее первого снега, а пенсия, на которую его выпнут, если контора закроется, – семнадцать тысяч, что по нынешнему курсу хватит на две пачки «Беломора» и троллейбусный билет до кладбища, – но не спросил, махнул рукой и вышёл – просить о деньгах, когда денег нет ни у кого, занятие бессмысленное и унизительное, как аплодисменты в пустом зале.

Михаил задержался дольше всех – достал фляжку, глотнул, не скрываясь, спрятал. Вчера звонил Лёня Гурвич, однокурсник по юрфаку, тот самый Лёня, который списывал у него римское право и путал деликт с контрактом, – а теперь сидел начальником юротдела в «Менатепе», ездил на белом «БМВ» и говорил «Мишенька, ты же талант, что ты делаешь в этой шарашке, приходи к нам, мы сейчас приватизацию оформляем, юристов не хватает, зарплата – ну сам понимаешь». Михаил отказался – из верности, из лени, из страха перед новым. А теперь визитка Лёнина лежала во внутреннем кармане и жгла сквозь ткань, как раскалённая монета. Встал, вышел, не оглядываясь. Оглядываются те, кому есть что терять.

Валера остался один.

Одиночество начальника – особый сорт, его не лечат ни водкой, ни бабами, ни даже деньгами, хотя деньгами пробовали лечить всё, от импотенции до государственного долга. Начальник одинок не потому, что вокруг нет людей, – людей как раз хватает, – а потому, что каждый из этих людей хочет от него что-то получить, и ни один не спросит: а ты как? а тебе больно? а ты выдержишь? Не спросит – начальник должность, а у должности нет нервных окончаний,

– по крайней мере, так принято считать, и все вокруг Валеры так считали, ошибаясь с тем весёлым упорством, с каким ошибаются только те, кому ещё нет сорока и кажется, что опыт – это то, что случается с другими.

Достал из ящика бутылку коньяка – «Арарат», пять звёзд, подарок на подписании первого большого контракта. Этикетка пожелтела, углы затёрлись – коньяк старел вместе с ними. Налил в кофейную чашку – хрусталь для таких случаев он не держал – бьётся первым, а кофейные чашки переживают любые катастрофы, сделанные из того же материала, что и человеческое терпение. Выпил залпом. Поморщился. Посмотрел на чашку – на коричневый ободок по краю, на трещину, идущую от ручки. Налил ещё.

На столе лежала фотография в рамке. Вся команда на презентации нового альбома – год назад, целая вечность, другая эпоха, другая жизнь. Сергей в центре, улыбается так, как улыбаются люди, которые знают что-то, чего не знают остальные, – и теперь понятно, что он действительно знал: знал, что уйдёт, знал, что заберёт всё, знал, что оставит их ни с чем. Валера рядом, в новом костюме, с бокалом шампанского, счастливый и глупый, как все счастливые люди. Елизавета чуть в стороне – как всегда, чуть в стороне, как всегда, смотрит не в камеру, а куда-то мимо, видит то, чего не видят другие.

Он взял фотографию. Долго смотрел на партнёра – на это улыбающееся, уверенное лицо того, кто, оказывается, всё это время планировал уйти, всё это время готовился к предательству, всё это время врал, глядя в глаза.

Где ты, Серёга? Что ты наделал? Зачем?

Ответа не было. За окном дворник в оранжевом жилете скрёб лопатой тротуар, методично, равномерно, с тем угрюмым достоинством, с каким люди делают бессмысленную работу – снег сыпал быстрее, чем лопата успевала его отбрасывать, но дворник скрёб, и будет скрести, и завтра будет скрести, – лопата не спрашивает, зачем, а человек давно перестал.

Империи рушатся в один день – строить их почему-то приходится годами.

Глава 3. Подпольный тираж

или Как воровать у своих и оставаться незамеченным

Воруют все – разница только в масштабе, наглости и умении делать невинное лицо, когда ловят за руку. Государство ворует у народа, называя это налогами и сборами; народ ворует у государства, называя это выживанием и находчивостью; а умные люди воруют у тех и других понемногу, аккуратно, с расписками, которые потом горят в пепельнице вместе с совестью и прочими атавизмами. Последнее называется бизнесом, и бизнесом занимались все, от бабушек с семечками до бывших секретарей обкомов, – разница была только в оборотах и в том, кто первым успеет убежать, когда придут с проверкой.

Кафе «Ромашка» на Таганке появилось при Брежневе как столовая при чулочно-носочной фабрике имени Клары Цеткин – той самой, что снабжала колготками пол-Москвы и воровала сырьё для цеховиков, пока директора не посадили за хищение в особо крупных, а саму фабрику не закрыли в девяносто первом за неуплату всего, что можно было не платить. Столовая осталась – сменила вывеску, но сохранила запах, тот специфический аромат советского общепита, смесь жареного лука, дешёвого маргарина и хлорки из туалета, который пропитывает стены насквозь и не выветривается никакими ремонтами, никакими реформами, никакими революциями.

Название выбирали при Брежневе, на профсоюзном собрании, где решались судьбы народов и определялись названия пельменных. Парторг Зинаида Павловна, женщина с лицом утюга и голосом отбойного молотка, настаивала на «Колоске» – идеологически выдержано, напоминает о хлебе насущном, созвучно с политикой партии. Директор фабрики предложил «Ромашку» – любил полевые цветы и терпеть не мог парткомовских дур, хотя последнее держал при себе до самой пенсии: откровенность карается строже, чем воровство. Проголосовали за «Ромашку» – не за красоту, а за премии, которые платил директор, тогда как парторг только портила нервы. Выбор между деньгами и нервами всегда очевиден.

Теперь от той эпохи остались ржавые буквы на фасаде, где «Р» отвалилась при Черненко, «М» покосилась при Горбачёве, а «К» держалась на одном шурупе и честном слове – как и вся страна, впрочем. Получилось «о аш а» – нелепая надпись для абсурдного времени, когда страна меняла названия быстрее, чем успевали перекрашивать вывески, когда вчерашние враги становились друзьями, а друзья – врагами, и никто не успевал следить за тем, кто есть кто.

Внутри было тепло, накурено и почти уютно – если не смотреть на облупившуюся краску и затоптанный пол. Официантка в засаленном фартуке бросила меню на стол, не глядя, и буркнула: «Солянки нет, котлет нет, компот вчерашний». Не спросила, что будут заказывать, – встала и ушла к стойке, всем видом показывая: обслужу, раз работа, но уважать не буду. Зато милиция сюда не заглядывала – то ли брезговала, то ли боялась, то ли договорились по-соседски, – и можно было сидеть часами за стаканом компота, обсуждая дела, которые не выносят в офисы, не записывают в протоколы и забывают сразу после того, как встают из-за стола. Забывать – тоже искусство, и владеют им с рождения.

* * *

Андрей опоздал на пятнадцать минут – глупость, которую он осознал только тогда, когда толкнул стеклянную дверь кафе и увидел их за угловым столиком: уже без тарелок, допивающих «Боржоми», поглядывающих на часы – нетерпеливо, почти угрожающе, тем взглядом, после которого ничего хорошего не жди. Пятнадцать минут – пустяк, повод для дежурных извинений и привычных же отмашек. Но не с этими людьми. Опоздание на встречу с таганскими было либо смелостью, либо глупостью, и Андрей относился ко второй категории, хотя искренне считал себя представителем первой, – такое случается с людьми, которые путают

осторожность с трусостью, а жадность – с бережливостью, и платят за эту путаницу дороже, чем хотели бы.

Можно было взять такси – от Чертанова до Таганки минут сорок, полтинник по нынешнему безумному курсу, который менялся три раза в день и каждый раз в худшую сторону. Но такси – это деньги, а деньги Андрей берёг с тем религиозным рвением, с каким другие берегут здоровье или совесть, с тем фанатизмом, который не знает компромиссов и не признаёт исключений. Он не курил – экономия. Пропускал обеды – экономия. Носил пальто, купленное ещё при Советской власти, когда сукно делали на века, а не на сезон, – экономия. Копил рубль к рублю, потом доллар к доллару, складывая купюры в жестяную коробку из-под печенья, которую прятал за батареей в своей однушке, и эта коробка была единственным, во что он по-настоящему верил в мире, где всё остальное продавалось и покупалось, предавалось и обесценивалось.

Человек без денег – никто, пустое место, расходный материал для тех, у кого деньги есть. Андрей решил не быть никем в детстве, когда его, заикающегося мальчишку из коммуналки, гоняли по двору более удачливые ровесники, и каждая оплеуха учила его одному: деньги – это власть, а власть – это возможность больше никогда не бегать, больше никогда не получать оплеухи, больше никогда не быть тем, кого гоняют.

Предательство – не грех и не преступление, а навык выживания, передающийся из поколения в поколение, как рецепт бабушкиного борща, – с той разницей, что борщ кончается, а предательство воспроизводится бесконечно. Предают все: мужья – жён, жёны – мужей, дети – родителей, партнёры – партнёров, государство – граждан, а граждане – государство, и в этом вечном хороводе невозможно определить, кто начал первым, – начали все одновременно, ещё при царе Горохе, и с тех пор не останавливались. Но есть особый сорт предательства – тихий, домашний, выросший не из злого умысла, а из обиды: маленькой, бытовой, незамеченной, как трещина в стене, которую не заделали вовремя, а потом удивлялись, почему рухнул дом.

* * *

Они были за столиком у окна. Артём сидел лицом к двери, Дима – лицом к кухне, к запасному выходу. Зеркало на стене напротив – мутное, треснувшее – отражало и улицу, и подъезд через дорогу. Когда дверь скрипнула – вошла старуха с авоськой – оба скосили глаза, не поворачивая головы, секунда, не больше. Убедились – не по их душу. Вернулись к еде. Так живут люди, которым неожиданность обычно означает либо наручники, либо пулю.

Дима и Артём – плечом к плечу, как те, кто привык прикрывать друг другу спину, кто знает, что напарнику можно доверять, – вместе сидели, вместе выходили, вместе делали дела – в протоколах это называется «преступным сговором», а в жизни – просто бизнесом. Дима – высокий, худой, с длинными пальцами пианиста или карманника, в спортивном костюме Adidas с тремя полосками – не спорт, а герб: знак касты, пропуск в мир, где законы писали не в Думе. Хлеб он ел всегда, при любой еде, – тюремная привычка, она не уходит, – как наколки на пальцах, как память о параше и о том, как важно не показывать слабость. Три года на малолетке научили простым вещам: хлеб – это жизнь, еда – это валюта, а тот, кто не доедает – либо дурак, либо скоро им станет.

Артём – коренастый, плотный, в кожаной куртке, под которой угадывалась кобура, – не скрывал: оружие носили все, кто мог себе это позволить, и многие из тех, кто не мог. На шее золотая цепь толщиной с мизинец – не столько украшение, сколько заявление о статусе, и ему за это ничего не будет. На пальцах перстни-печатки, взгляд тяжёлый, оценивающий – как у питбуля перед дракой, как у привыкшего решать проблемы быстро и не оставляя свидетелей.

Андрей подошёл, сел напротив. Дипломат поставил на колени – не на пол, где могут стащить, не на стул, откуда может упасть, – сюда, где чувствуешь его вес, где он никуда не денется. В дипломате лежали двенадцать тысяч долларов – его пропуск в ту жизнь, что он себе

придумал, или билет на кладбище, если что-то пойдёт не так, и второе было вероятнее первого, но он старался об этом не думать.

– П-привет, – сказал он, и проклятое заикание выдало его с головой, выставило на всеобщее обозрение его страх, его неуверенность, его слабость, которую он так старался скрыть.

Артём поднял глаза от тарелки – вылизал дочиста, хотя незаметно – делал аккуратно, по-тюремному, ничего не оставляя. Прожевал последний кусок, вытер губы салфеткой – бумажной, дешёвой, из тех, что размазывают больше, чем вытирают. Не торопился отвечать – в этом тоже была власть: кто ждёт – тот ниже, кто ниже – тот платит, а кто платит – тот и танцует под чужую дудку.

– Опаздываешь.

– П-пробки. Садовое в-встало.

– Садовое всегда стоит. Планируй лучше. Или такси бери, раз на своих двоих не успеваешь.

Дима не сказал ничего – он вообще говорил мало, предпочитая слушать и смотреть: слова – это обязательства, а их он не любил. Доел солянку, отодвинул тарелку, собрал хлебом остатки соуса – тщательно, по-хозяйски, ничего не оставив, – привычка есть привычка, и зона сидит глубже любого воспитания. Потом достал из кармана семечки – «Мартин», в красной пачке, жареные с солью, – и начал лузгать: методично, аккуратно, сплёвывая шелуху в пустую тарелку, не отводя взгляда от Андрея, смотря ему в глаза так, как смотрят, когда хотят понять, можно ли доверять, а если нельзя – как лучше избавиться.

* * *

– Принёс? – спросил Артём, когда пауза стала невыносимой, когда тишина начала давить, как бетонная плита.

Андрей огляделся – официантка за стойкой листала «Работницу», два мужика в углу спорили о футболе, старуха у кассы пересчитывала мелочь, и никто не смотрел в их сторону – все были заняты собственным выживанием.

Он открыл дипломат на коленях, ощущая ладонями холод кожи, и достал конверт – толстый, тугой, приятно тяжёлый, такой, какие бывают только тогда, когда внутри настоящие деньги, а не бумага, не кукла, не обманка.

– Д-двенадцать тысяч. Как договаривались. В-ваша доля.

Артём взял конверт, не пересчитывая – часть ритуала, демонстрация доверия, которое ничего не значило: пересчитают потом, в машине, и если сумма не сойдётся – Андрей узнает об этом. Может быть, последним, что узнает в своей жизни.

– Тиражи?

– В-варум – пять тысяч. Маликов – три. Через з-завод, как обычно. Прибавил к официальному заказу, разбил на п-партии, чтобы не бросалось в глаза, чтобы бухгалтерия не з-заметила. И не заметили – у них своих проблем хватает, им не до т-тиражей.

В этом была красота схемы, которую он придумал сам, долгими бессонными ночами, когда лежал в темноте и считал чужие деньги, прикидывая, как сделать их своими. Левые тиражи шли по тем же каналам, что и настоящие, через те же точки, к тем же покупателям. Те же коробки, те же обложки, те же диски – печатались на том же заводе, с тех же матриц, теми же руками. Отличить пиратку от оригинала не смог бы сам артист с обложки: это и был оригинал – просто учтённый в другой бухгалтерии, с деньгами, идущими в чужой карман.

«Серебряный диск» платил за всё – за производство, за рекламу, за раскрутку, за взятки, за откаты, за всё то, без чего невозможно работать – а прибыль снимали другие. Идеальное преступление: жертва сама оплачивает расходы вора, сама несёт издержки, сама делает всю работу – а вор только собирает сливки.

– Н-наши точки работают, – продолжил Андрей, чувствуя, как заикание отступает, когда он говорит о деле, о том, в чём разбирается, в чём уверен. – Горбушка – три т-точки. Лужники

– две. Черкизон – одна. П-продавцы наши, места наши, схема наша. Покупатель не отличит – да и не захочет отличать, ему всё равно, главное, чтобы музыка играла.

– А если кто заметит? – подал голос Дима, и его высокий, почти писклявый голос резанул слух – от такого человека ожидаешь баса, а не фальцета.

– Н-не заметят. У них сейчас другие п-проблемы. Сергей пропал. С деньгами. Шестьсот тысяч почти. Все б-бегают, ищут, паникуют, волосы на себе рвут. Им не до т-тиражей, им бы выжить.

– Шестьсот тысяч, – повторил Артём. Перестал жевать. Отложил вилку, откинулся на стуле, посмотрел в потолок – так прикидывают сумму, когда она заслуживает паузы. – Серьёзный человек. Далеко пойдёт, если не поймают.

– Они д-думают, он вернётся. Верят, что это недоразумение, что он объяснит, что всё н-наладится.

– Все так думают. Пока не поздно. Пока не понимают, что уже поздно.

* * *

Артём переглянулся с Димой – короткий взгляд, меньше секунды, тот взгляд, заменяющий тысячу слов, когда люди понимают друг друга без слов, – и они поднялись оба, слаженно, как по команде, как два механизма, работающие синхронно.

– На следующей неделе ещё партия. «Технология» и «Кар-Мэн». По пять тысяч каждого. Сделаешь?

Андрей быстро прикинул – десять тысяч дисков, себестоимость два доллара, продажная десять, итого восемьдесят тысяч оборота, минус накладные, минус откаты, минус их доля. Его часть – тысяч пятнадцать, может, двадцать, если повезёт, если всё пойдёт гладко, если никто не заметит.

– С-сделаю.

– Вот и ладно, – Артём уже шёл к выходу, не оглядываясь, – оглядываться значит сомневаться, а сомнений у таких людей не бывает. – Заплатишь тут. За обед.

И они вышли – не прощаясь, как хозяева уходят из собственного дома, уверенные, что всё здесь принадлежит им, что все здесь работают на них, что мир устроен правильно и справедливо – по крайней мере, для них.

* * *

Андрей остался один за столом с тремя грязными тарелками и пустой бутылкой «Боржоми». Счёт лежал под солонкой – сорок тысяч рублей за чужой обед, за котлеты, что он не ел, за суп, что не заказывал, за минералку, что не пил.

Он только что отдал двенадцать тысяч долларов – и всё равно платил за чужие котлеты – так было заведено, таковы правила игры, в которую он сам захотел играть. Для Димы с Артёмом он был никем – полезным никем, прибыльным никем, но всё-таки никем, человеком, платящим за чужой обед и говорящим «спасибо», тем, кого можно использовать, а потом выбросить, как использованную салфетку.

Вышел на улицу – у входа мужик в камуфляже продавал ёлки, прислонив их к стене веером, и торговался с женщиной в песцовой шапке: «Полтинник!» – «Двадцатка!» – «За двадцатку – вон ту, лысую, она как ваш мужик после армии!» – женщина фыркнула, но засмеялась, и они сошлись на тридцати, и мужик потащил ёлку к её машине, оставляя на асфальте мокрый хвойный след, – декабрь пах смолой и надеждой, хотя надеяться было решительно не на что. Вишнёвая «девятка», на которой уехали Дима с Артёмом, давно скрылась в потоке машин, но Андрей запомнил номер – автоматически, как запоминал всё, что могло пригодиться, что могло стать козырем, что могло однажды спасти жизнь или погубить чужую.

Он подумал о Валере, который сейчас сидел в офисе, искал Сергея, не понимая, что искать нужно ближе – гораздо ближе. Два года назад Валера сам позвонил ему, заике из Чертанова, которого никто не брал: «Приходи завтра, попробуем». На второй день вручил ключи

от склада – просто так, без расписки, без залога. «Ты честный, – сказал тогда, – я вижу». И это доверие Андрей продал за процент с левых тиражей, за место под крылом таганских, за иллюзию безопасности в стране, где её не было ни у кого, включая тех, кто её продавал.

Продал – и не жалел, – совесть – груз, который сбрасывают первым, когда тонешь, когда нужно плыть налегке, когда от скорости зависит жизнь. «Серебряный диск» шёл ко дну – это было видно всем, кроме капитана.

* * *

Метро «Таганская» дышало толпой – тысячи людей, тысячи судеб, тысячи чужих несчастий, спрессованных в переходах, на эскалаторах, в вагонах, которые везли всех в одном направлении – вниз, в темноту, в неизвестность. В дипломате лежали восемь тысяч долларов – его доля, его заработок, его билет в завтра, – но он думал о других деньгах, о другой жизни, о той, которая ещё не наступила, но которую он уже видел так ясно, что она казалась вчерашней.

Эскалатор тащил его вниз. Андрей прижал дипломат к животу обеими руками, покачивался в такт ступеням, и губы шевелились – считал. Не сегодняшние восемь тысяч. Другое.

Авторские права – вот где лежали настоящие деньги, не сегодняшние, не завтрашние, а вечные, те, что будут капать каждый месяц, каждый год, всю оставшуюся жизнь. Не в тиражах, не в концертах, не в дисках, обречённых устареть, – в бумажках, исписанных мелким шрифтом, что никто не читает, все подписывают не глядя: хотят петь, а не юриспруденцию изучать.

Пять лет эксклюзива, десять процентов роялти, право на переиздание, право на использование в рекламе, право на всё – юридическая казуистика, в которой путались даже юристы, но приносившая деньги тем, кто в ней разбирался, тем, кто умел читать мелкий шрифт и понимать, что за ним стоит.

Кто владеет песней – тот владеет деньгами. Не сегодня, так через десять лет, не через десять – так через двадцать, – песни не стареют, хиты остаются хитами, и люди платят за них снова и снова – в ресторанах, на радио, в рекламе, в кино, везде, где нужна музыка, а музыка нужна везде.

Валера однажды подписал договор, не читая – бросил взгляд на последнюю страницу и черкнул подпись. «Там же мелкий шрифт», – сказал ему Андрей. «Мелкий шрифт – для мелких людей», – ответил Валера и пошёл слушать демо-запись. Для них музыка была искусством, страстью, смыслом жизни. Романтики и идеалисты, они путали любовь к делу с умением на нём зарабатывать, – а настоящие деньги тем временем лежали в архиве, в папках, не открывавшихся годами, в договорах, пылившихся на полках и ждавших своего часа.

Когда-нибудь – не скоро, но неизбежно, как смерть и налоги, – у него будет своя контора, чистая, легальная, без бандитов и без крыши. Только бумаги, только подписи, только авторские права на песни, что будут петь ещё пятьдесят лет после того, как все, кто их написал, уйдут на тот свет.

Он уже видел это – ясно, в деталях. Офис в центре Москвы, с секретаршей и кожаным креслом. Папки с договорами в шкафах от пола до потолка. Артисты в очереди в приёмной – те самые, что сейчас не знают его имени и не замечают в коридоре. «Андрей Николаевич, нам бы отчисления пересмотреть…» А он будет сидеть, листать бумаги, и говорить: «Подождите. У меня тут сто таких дел. Запишитесь на следующий месяц».

И они будут записываться. И ждать. И надеяться.

А он – получать. Каждый месяц. Каждый год. Всю оставшуюся жизнь.

А пока – восемь тысяч в дипломате и эскалатор, уходящий вниз, в гудящее нутро московского метро, где бабка в пуховом платке торговала пирожками с лотка и кричала «с капустой, с мясом, с рисом!» – хотя пирожки были одинаковые, все с капустой, но бабка знала свою публику: голодным людям нравится иллюзия выбора почти так же сильно, как сам выбор.

Андрей умел ждать – в этом был его единственный талант, но его хватало, потому что умение ждать встречается реже, чем кажется, и стоит дороже, чем думают те, кто хочет всего и сразу.

Русская история – длинная цепочка событий, о которых узнают потом. Потом – любимое наречие отечественной хронологии: потом выяснится, что министр воровал, потом окажется, что друг стучал, потом обнаружится, что жена давно ушла, просто забыла сообщить. Настоящее – черновик, который никто не читает; чистовик пишется задним числом, когда все участники уже мертвы, посажены или эмигрировали. Обида – не поезд, у неё нет стоп-крана и расписания, она катится тихо, по рельсам, проложенным задолго до первого предательства, – и те, кто стоит на платформе, слышат стук колёс и принимают его за нормальный шум жизни. Люди вообще склонны принимать за норму всё, что не взрывается прямо сейчас.

* * *

Через дорогу от кафе, в серой «Волге» с заляпанными грязью номерами, лейтенант Грачёв опустил бинокль и сверился с фотографией из папки на пассажирском сиденье.

Андрей Николаевич, начальник отдела продаж «Серебряного диска», не судим, не привлекался, характеризуется положительно – если не считать того, что каждую неделю встречается с людьми, за которыми тянется хвост на десятерых – нераскрытые дела, пропавшие без вести.

Тех двоих тоже знали – таганские, люди Хиппи, их вели с февраля, когда майор Петров притащил дело из Свердловска – того самого, откуда приехал Сергей со своими кассетами и мечтами о больших деньгах. Ниточка оказалась не одна – целый клубок, который предстояло распутывать, не торопясь, аккуратно, чтобы не порвать раньше времени.

Грачёв записал время встречи, номер вишнёвой «девятки» – ещё одна строчка в рапорте, который ляжет в папку и будет лежать, пока кто-то наверху не решит, что пора действовать, что созрело, что можно собирать урожай.

На приборной панели стоял термос, рядом – надкушенный бутерброд с колбасой в газетной обёртке, «Советская Россия» за прошлый вторник. Засох, но Грачёв не замечал: шестой час в машине, мотор заглушен, печка не работает, пальцы красные от холода. Работа, не терпящая суеты. А Грачёв не суетился – этому учили в школе милиции, этому учила сама жизнь, этому учил каждый день, проведённый в этой машине, на этой улице, за этими людьми.

Завёл мотор и тронулся – не следом за объектом, скрывшимся в метро, а в другую сторону, к отделению, к отчётам, к бумагам, что когда-нибудь станут обвинительным заключением. Не торопясь – торопиться некуда: завтра будет то же самое, и послезавтра, и через неделю, пока паутина не сплетётся достаточно плотно, чтобы удержать всех.

Никогда не знаешь, кто ты – паук или муха. Пока не дёрнешь за нитку. Пока нитка не дёрнет тебя.

Глава 4. Возвращение блудного партнёра

или Как вернуться с того света и застать поминки по себе

Человека хоронят три раза: когда он уезжает, когда он молчит и когда он возвращается. Первые два раза – заочно, по привычке: уехал – значит, пропал, растворился в пространстве, сгинул; молчит – значит, забыл, или забили его, что часто одно и то же – забывают быстро, а забивают ещё быстрее, и грань между глаголами тоньше, чем кажется. Третий раз – с удивлением, когда он появляется на пороге, живой и невредимый, и выясняется, что поминки были преждевременными, речи напрасными, а водка – выпитой зря, хотя водка никогда не бывает выпита зря, для неё всегда найдётся повод, если не похороны, то воскрешение, а если не воскрешение – то просто вторник.

Через десять дней, в четверг, в том же кабинете на Якиманке, где пепельницы не успевали опустошать, а кофейник не успевал остывать, у Валеры залегли складки от носа к подбородку, которых не было ещё полторы недели назад. Борис Семёнович похудел – рубашка висела на шее, воротник отставал на два пальца. Андрей не брился. Михаил не менял рубашку – или менял на такую же, мятую. За десять дней так не стареют, но бывает время не астрономическое, а психологическое – когда минуты тянутся как столетия, и человек просыпается утром с ощущением, что прожил во сне чужую жизнь, причём не ту, о которой мечтал, а рутинно страшную, от которой хочется проснуться, но не получается.

Батарея под окном булькала, как умирающий, которому забыли дать воды. Лампа дневного света гудела и мигала – раз в минуту, ровно, как метроном, отсчитывающий время до катастрофы. Пепельница на краю стола давно переполнилась, окурки лежали прямо на бумагах, на подоконнике, в блюдце из-под кофе. Воздух был спёртый, прокуренный до желтизны, пропитанный кофейной гущей и тем кислым запахом отчаяния, что остаётся навсегда – шрамом, ожогом, памятью о том, что хотелось бы забыть.

* * *

Андрей сидел в углу у батареи, подтянув ноги, – маленький, сгорбленный, в пальто, которое не снимал третий день, – в кабинете было холодно, за отопление не заплатили, впрочем, за что тут было заплачено? Блокнот на коленях, карандаш между пальцами – составлял списки кредиторов, и от этих списков бросало в пот, как от врачебного диагноза. Вместо «Варум – новый клип – MTV» значилось: «Типография – 40 000 – могут подождать, директор в отпуске, секретарша берёт». «Завод – 80 000 – будут давить, у них план». «Инкомбанк – 120 000 – три звёздочки».

Три звёздочки означали максимальную опасность – как на бутылке коньяка, только коньяк от звёздочек благороднее, а долг – злее. Три звёздочки – это люди с короткими стрижками и длинными руками, не умеющие договариваться, зато мастера объяснять так, что потом долго болит. Андрей поставил их и обвёл кружком – дважды, жирно, – и от этого кружка карандаш в пальцах задрожал.

Борис Семёнович колдовал над калькулятором – старым, брежневским, с западающими клавишами и треснувшим экраном, показывавшим цифры только под нужным углом. Костлявые пальцы бегали по кнопкам, губы шевелились, очки в роговой оправе то сползали на кончик носа, то задвигались обратно – и снова цифры, и снова покачивание седой головой – результат не менялся, сколько ни жми, как не изменится надпись на надгробии, сколько ни скреби.

Михаил раскладывал на столе документы для процедуры банкротства – методично, аккуратно, как гробовщик снимает мерку с ещё живого клиента. Папка к папке, бумага к бумаге, скрепка к скрепке. Порядок в документах утешал – последний порядок, который можно навести, когда вокруг хаос.

Елизавета сидела у второго окна с телефонной трубкой, прижав её плечом к уху, и одновременно курила, стряхивая пепел в пустую банку из-под «Нескафе». Обзванивала артистов – тех, кто ещё не сбежал, не предал, не переметнулся к Мальцеву. Таких оставалось всё меньше – как зубов у старика, грызшего гранит науки всю жизнь и не заметившего, как гранит победил.

– Да, Николай Васильевич, понимаю вашу озабоченность… – ровно, профессионально, не дрогнет, даже если потолок обрушится. – Нет, деньги будут, просто небольшая задержка… Технические проблемы с банком, вы же знаете, как у нас банки работают – то закроются, то откроются, то вообще исчезнут вместе с вкладами… Да, конечно, на следующей неделе…

Положила трубку. Затянулась. Записала что-то в блокнот – коротко, одно слово, скорее всего – фамилию того, кого потеряли. Вся Москва жила на лжи, от финансовых пирамид, обещавших тысячи процентов годовых, до гарантий правительства, что деноминации не будет. Врали все – от президента до дворника, и разница была только в масштабе и в цене, что за это платили. Елизавета врала профессионально – спокойно, ровно, без надрыва. Так врут хирурги перед операцией, зная, что правда убьёт быстрее скальпеля. Плакать – это роскошь, на которую у них не было бюджета.

Валера стоял у окна. Внизу, у подъезда, таксист в кожаной кепке спорил с пассажиром – толстым, красномордым, в распахнутой дублёнке, – и до четвёртого этажа долетало: «Червонец! Червонец до Курской, и ни копейки меньше!» – «Пятёрка!» – «Пошёл на хер!» – «Сам пошёл!», – и оба уже лезли друг к другу, и оба знали, что через минуту договорятся за семёрку, – торг не коммерция, а ритуал, без которого ни одна сделка не считается настоящей. Валера упёрся лбом в холодное стекло, и от дыхания на стекле расплывалось мутное пятно, за которым таксист и толстяк расплывались тоже, превращаясь в пятна – неразличимые, бессмысленные, как цифры на счетах, которых больше нет.

* * *

– Может, хватит? – Михаил поднял голову от бумаг, оторвался от своего бумажного кладбища. – Давайте честно признаем – всё кончено. Объявляем банкротство. Хотя бы цивилизованно.

– Цивилизованно? – Борис Семёнович откинулся в кресле, скрестил руки. – Когда-нибудь видели цивилизованное банкротство? Есть рейдерский захват с братками в масках и битами наперевес. Есть кидалово через подставные фирмы. А цивилизованного – нет, не бывает, не существует в природе. Это как честные выборы – все слышали, никто не видел, а кто говорит, что видел – тот врёт или сумасшедший.

– П-подождите, – Андрей вцепился в карандаш – последняя соломинка, последняя надежда. – Один день. М-может, что-то изменится, м-может…

– Что – может? Сергей вернётся с чемоданом денег и извинениями? Скажет – «простите, ребята, погулял немного, вот ваши шестьсот тысяч, с процентами»? – Борис Семёнович закашлялся, и кашель этот звучал как приговор. – Сдох он. Или свалил за бугор, к тёплым морям и холодным счетам. Одно из двух. Третьего не дано.

– Серёга не такой, – Валера повернулся от окна, и кулаки его были сжаты так, будто он собирался драться с целым миром, но голос подвёл – дрогнул на последнем слоге, выдав то, что кулаки пытались скрыть: веру, тонкую, как апрельский лёд, на который ступаешь, зная, что треснет, но ступаешь – другой дороги нет. – Столько лет вместе. Он бы не кинул. Не мог. Не стал бы.

Елизавета положила трубку. Медленно, аккуратно – так кладут вещи, когда внутри всё трясётся, но показывать нельзя. Посмотрела на Валеру поверх сигареты – так смотрят на детей, верящих в Деда Мороза.

– Шестьсот тысяч долларов. За такие деньги кидают и партнёров, и друзей, и родную мать, и совесть, и честь. За такие деньги – убивают, и никого потом не находят, – за такие деньги можно купить и следствие, и суд, и приговор.

Часы на стене показывали без четверти шесть. Тикали – громко, назойливо, единственный звук в кабинете, кроме бульканья батареи и кашля Бориса Семёновича. Тикали и тикали, отмеряя время, которого не было.

* * *

Дверь открылась без стука.

На пороге стоял Сергей.

Возвращаться некуда – не потому что далеко, а потому что место, откуда ушёл, успевает стать другим. Страна, которая за один двадцатый век пережила три революции, две мировых войны, один развал и бесчисленное количество обещаний светлого будущего, давно разучилась ждать. Здесь не возвращаются – здесь приходят заново, каждый раз в другую дверь, и каждый раз обнаруживают, что мебель переставили, стены перекрасили, а люди, которых помнишь молодыми, смотрят глазами стариков. Двенадцать дней отсутствия – по человеческим меркам ерунда, по российским – эпоха: за двенадцать дней здесь меняются правительства, курсы валют и лучшие друзья.

Часы тикнули и замолчали – или это показалось, или время действительно запнулось на секунду: Борис Семёнович уронил калькулятор и не заметил, Андрей привстал, вцепившись в край стола побелевшими пальцами, Михаил отъехал вместе с креслом на полметра от двери, а Елизавета, единственная из всех, не шевельнулась – только сигарета замерла на полпути ко рту, и по этой неподвижности можно было судить о потрясении точнее, чем по чужой суете.

Кожаная куртка измята, потёртая – та самая, свердловская, в которой он записывал первые кассеты в подвале. Джинсы в дорожной пыли, щетина трёхдневная, под глазами – чёрные тени от бессонных ночей, от тысяч километров, от чего-то такого, о чём он не расскажет никогда. Но глаза – живые, с чертями в зрачках, с тем блеском, который появляется, когда в кармане козырь, когда держишь мир за горло и понимаешь, что можешь сжать.

Все пятеро решили, что он вор, – без суда, без следствия, без единого доказательства, на одном только страхе и привычке думать о людях самое худшее, – самое худшее обычно оказывается правдой, – и они ошиблись, но не ошибка жгла совесть, а то, что обрадовались своей правоте, когда казалось, что она подтверждается, и огорчились, когда выяснилось обратное. Человек устроен паршиво: он предпочитает быть правым в плохом, чем ошибаться в хорошем.

Он стоял в дверном проёме – секунду, другую, третью, – давая себя разглядеть, позволяя им прочувствовать момент, как хороший актёр держит паузу перед главным монологом.

– Что за паника на Титанике? – вошёл, прикрыл за собой дверь, осмотрелся – вроде не узнавая, хотя узнавал прекрасно, просто так было нужно, так требовал сценарий, написанный им самим на пути сюда. – Помер кто? Или духа Маркса вызываете, чтоб подсказал, как при капитализме выжить? Так я вам и без Маркса скажу – никак, если денег нет. А если есть – то можно.

Тишина. Борис Семёнович уронил очки на стол. Андрей открыл рот – и закрыл: слова застряли где-то между горлом и мозгом и никак не могли найти дорогу. Михаил прижал к груди папку с документами о банкротстве – инстинктивно, как прижимают улику.

– Думаем, – Валера цедил слова, слишком ровно, так говорят, когда сил осталось на одно предложение. – Что делать без денег. Которые ты унёс. Репетируем речь для кредиторов. Которые придут завтра с битами.

Сергей прошёл к столу – уверенной, хозяйской походкой, подошвы ботинок оставляли мокрые следы на паркете. Сдвинул документы о банкротстве – небрежно, как сдвигают мусор. Сел на край стола, достал из нагрудного кармана мятую пачку «Кэмела», вытряхнул сигарету, прикурил от зажигалки. Выпустил дым в потолок. Только потом заговорил – так, будто речь шла о погоде, а не о шестистах тысячах:

– А в чём проблема-то? Деньги – дело наживное, сегодня нет, завтра есть. Вы же не думали, что я с вашими бабками в Сочи укатил? Шампанское пить и с девочками кувыркаться?

Усмехнулся – обидно, с вызовом, той усмешкой, от которой хочется ударить.

– А вы думали. Вижу по рожам. Все думали.

* * *

– Мы ждём! – Андрей вскочил, стул опрокинулся с грохотом. Заикание усилилось до невозможности, слова застревали в горле, как кости, но он уже не мог остановиться. – Ж-ждём, когда эфиры остановят! К-когда кредиторы придут! Д-двенадцать дней похороны готовим, речи над гробом пишем! Где б-бабки?! П-почти шестьсот т-тысяч, мать твою!

Схватил со стола первую попавшуюся папку – и швырнул. Не в Сергея – мимо, в стену, но намерение читалось ясно.

Сергей поймал её на лету – спокойно, одной рукой, не выпуская сигарету из другой. Реакция не подвела, руки помнили, тело не забыло – только душа, похоже, забыла, что такое благодарность. Посмотрел на Андрея – долго, не моргая, как смотрят на собаку, вдруг залаявшую на хозяина, – с изумлением и брезгливостью.

– Закончил? – спросил тихо, и в этом «тихо» было больше угрозы, чем в любом крике.

Повернулся к Валере. Сигарета дымилась между пальцами – он не затягивался, держал просто так, как держат оружие, которое пока не нужно, но пусть будет под рукой.

– А ты, партнёр? Тоже думаешь, что я с баблом в Сочи загорал? В шампанском купался, пока вы тут убивались?

– Я не знаю, что думать, – Валера не отвёл глаз, хотя смотреть в эти глаза с чертями было трудно, почти невозможно. – Двенадцать дней, Серёжа. Ни слова. Ни звонка. Деньги взял, сам исчез. Факты кричат одно – так громко, что уши закладывает.

– Хочешь не верить – но веришь. Вижу. По глазам вижу, по спине вижу, по тому, как руки держишь.

Он медленно повёл головой по кабинету, задерживаясь на каждом лице. Андрей отвернулся к окну. Борис Семёнович уткнулся в калькулятор. Михаил спрятал папку под стол. Даже Елизавета опустила глаза – та, что обычно не опускала их ни перед кем.

– Предателем меня считаете, – не вопрос, констатация, приговор. – Вором. Тем, кто кинул своих и свалил с кассой. Двенадцать дней – и всё, что было между нами, вся дружба, всё партнёрство – коту под хвост, на помойку истории.

* * *

Тогда он полез во внутренний карман куртки – и кабинет окаменел: Андрей отшатнулся к стене, Михаил зачем-то сунул руку под стол, а Борис Семёнович выставил перед собой калькулятор, точно брежневская электроника могла спасти от того, что достают из-за пазухи в девяносто втором году. Рука задержалась в кармане на секунду – нарочно, театрально, с тем актёрским чутьём, которое не купишь ни в каком ГИТИСе, – и вытащила конверт. Толстый, тугой, набитый бумагами, шелестевшими, как деньги, хотя деньгами не были. Положил на стол – аккуратно, почти нежно, как кладут козырного туза, когда знаешь, что выиграл, но хочешь насладиться моментом.

Борис Семёнович потянулся к конверту первым – профессиональный рефлекс, бухгалтерская жадность до цифр. Сергей накрыл его ладонью.

– Погоди. Сначала послушай. Потом считай.

В Советском Союзе верили на слово – слово было единственное, что не облагалось налогом. В новой России поверили в бумажку – в договор, в квитанцию, в печать, в подпись нотариуса, – и бумажка заменила рукопожатие, как доллар заменил рубль: – не лучше, а надёжнее. Эволюция доверия – от «будь братом» до «распишись вот здесь» – заняла три года и стоила стране больше, чем любая приватизация, – приватизировали не заводы, а саму способность верить друг другу. Распродали оптом, по дешёвке, без права выкупа.

Встал с края стола. Прошёлся по кабинету – три шага к окну, разворот, три обратно, – руки в карманах, подбородок вверх – прогулка, а не допрос.

– На каналы я деньги завёз в тот же день. До копейки. Сто восемьдесят тысяч, как договаривались, как было в плане. Квитанции – здесь. Можете позвонить, проверить, поднять архивы – всё сойдётся.

Бумаги разлетелись по столу веером. Валера схватил первую квитанцию – руки дрожали так, что буквы прыгали перед глазами. «Получено… 180 000 долларов США… в счёт оплаты рекламного времени…» Подпись, печать, дата – всё настоящее.

– А остальное? – голос Бориса Семёновича сел, превратился в хрип. – Было же больше?

Сергей достал вторую пачку бумаг – потолще. Развернул на столе, разгладил ладонью, придавил пепельницей угол, чтобы не скручивались. Каждое движение – точное, выверенное, как у фокусника, показывающего трюк и знающего, что публика ахнет.

– Остальное – провернул. Вложил. Заработал. Договор на уголь из Кузбасса – по бартеру, по дешёвке, по связям, оставшимся от старых времён. Уголь – на металл, металл – на станки, станки немцы покупают за марки, марки – в доллары через банк в Вене, не задающий вопросов. Схема рабочая, проверенная, я её в Свердловске обкатывал.

Уголь – металл – станки – марки – доллары. Великая цепочка русского бизнеса девяностых, в которой начальное и конечное звено разделяли тысячи километров, три границы и пять уголовных статей. Экономика работала как бешеный велосипед – крутишь педали, несёшься с горы, руль отвалился, тормоза не предусмотрены конструкцией, но пока едешь – жив, а остановишься – упадёшь. Позже, много позже, это назовут «первоначальным накоплением капитала» и напишут об этом диссертации. Диссертаций тогда никто не писал – крутили педали.

– За двенадцать дней? Всё это – за двенадцать дней?

– Связи есть – те, о которых я не рассказывал, – не твоё дело. Наглости хватает – её у меня всегда было в избытке, ты сам говорил. Языком работать умею – не только этим, – усмехнулся криво, с горечью. – Итого: на вложенные четыреста – получаем шестьсот пятьдесят. Чистыми. Минус накладные, минус взятки, минус откаты – пятьсот восемьдесят. Ровно столько, сколько было в сейфе. Копейка в копейку.

Борис Семёнович уже не ждал разрешения – сгрёб бумаги, навалился на них всем телом, очки сползли на кончик носа, калькулятор защёлкал как бешеный. Губы шевелились, пальцы бегали по строчкам, лоб покрылся испариной – и пока он считал, никто не шевелился, никто не дышал: Валера подался вперёд, упёршись костяшками в стол, Андрей замер с открытым ртом, Михаил машинально сложил руки, как на молитве, – да и молитва была бы уместна, – от этих цифр зависело, жить им дальше или расходиться по углам доживать.

– Сходится, – прошептал он наконец, и голос дрогнул. Снял очки, протёр – не платком, пальцами, не замечая. – Мать честная, всё сходится… Он не врёт, Валера. Всё чисто, всё по-честному.

Вот тут бы и обняться, выпить, хлопнуть друг друга по плечам, сказать – «прости, дурак был, виноват, с меня коньяк». Так было бы в кино, в дешёвом сериале, где герои прощают друг друга за три минуты до титров. Но жизнь – не сериал. В жизни человек, которого десять дней считали вором, не прощает по щелчку. В жизни обида – это не рана, а перелом: срастётся, но кость уже не та, и на погоду ноет.

В кабинете стало тихо – по-настоящему тихо, даже батарея перестала булькать, даже лампа замолчала, даже часы, казалось, затаили дыхание.

* * *

Сергей выпрямился. Затушил сигарету – вдавил в пепельницу медленно, с нажимом, до последней искры. Оглядел их всех – одного за другим, не торопясь, – глазами человека, которому больше не веришь, которого больше не уважаешь, с которыми больше не хочешь иметь дела.

– Я думал – мы партнёры. Команда. Люди, что друг другу верят, друг за друга горой, вместе прошли огонь и воду и медные трубы. А вы при первой проблеме – сразу: Серёга крыса,

Серёга предал, Серёга сбежал с кассой. Двенадцать дней, Валера. Двенадцать. Шесть лет дружили, шесть лет работали, шесть лет строили – и двух недель хватило, чтобы ты меня похоронил. Заочно, без суда и следствия.

– Серёга, подожди. Мы ошиблись. Я ошибся. Прости.

Валера шагнул к нему, протянул руку – ту самую, что Сергей пожимал сотни раз, символ партнёрства, дружбы, общего дела.

Сергей посмотрел на эту руку. Долго. Потом отвёл её – не резко, не грубо, а медленно, как отводят руку ребёнка, который тянется к чему-то, чего ему нельзя.

– Поздно, Валера. Слишком поздно. Знаешь, где я эти двенадцать дней был? В Челябинске. В Кемерово. В Новосибирске. В заводских гостиницах, где клопы в шашки играют и тараканы в очереди в душ стоят. Водкой директоров поил – палёной, другой там нет, от неё наутро голова как чугунная и желудок как кислотная яма. На поездах трясся, в плацкарте, – на самолёт денег жалко было – каждый доллар в дело, каждая копейка на счету.

Он говорил всё тише, и кабинет вслушивался – есть такая манера у людей, прошедших зону: чем сильнее обида, тем ниже голос, потому что на зоне кричат только слабые, а сильные говорят шёпотом, и от этого шёпота бросает в пот.

– А вы тут сидели, в тепле, с кофе, в сигаретном дыму, и гадали – в каком кабаке я ваши денежки пропиваю, с какими девками ваши доллары прогуливаю.

– Мы не знали… Как мы могли знать, если ты не сказал?

– Не знали? А подождать? А поверить – хоть на минуту, хоть на секунду – что партнёр, с которым шесть лет, не предатель? Что друг, с которым начинали в гараже, не предаст? Нет. Сразу – самое худшее. Сразу – документы на банкротство, речи на кладбище, венки с чёрными лентами.

Он кивнул на бумаги, которые Михаил торопливо сгребал в папку, прятал, как улику.

– Видел. Всё видел. Не слепой пока. «Процедура банкротства», «Реестр кредиторов», «План ликвидации». Красиво. Аккуратно. Профессионально. Меня ещё не закопали, а вы уже делите наследство.

В этой стране так заведено: сначала хоронят, потом разбираются. Сначала вычёркивают, потом спрашивают. Сначала предают, потом извиняются – и искренне удивляются, когда извинения не принимают, – это здесь не покаяние, а формальность, вроде чека из магазина, который выбрасывают, не читая.

* * *

Сергей развернулся, пошёл к двери – ссутулившись, опустив плечи, тяжёлой походкой человека, тащившего на себе не только бессонницу двенадцати суток, но и разочарование, которое давит сильнее любого груза. У порога остановился. Обернулся – рука на дверной ручке, куртка нараспашку, глаза – потухшие, пустые.

– Документы я оставил. Деньги будут через неделю – как только немцы переведут, банк проведёт, всё оформится. Разберётесь без меня. Вы же умные, с дипломами. А я – простой уральский пацан, которому место в гараже, а не в офисе. Так ведь вы думаете? Так ведь всегда думали?

– Подожди! – Валера шагнул за ним, но шаг этот был слишком медленным, слишком нерешительным, слишком поздним. – Мы без тебя не вытянем. Ты сам знаешь. Без тебя – конец.

– Знаю, – Сергей обернулся, и лицо его было серым, постаревшим, незнакомым. – Поэтому и оставил всё. Не ради вас – вы этого не заслужили. Ради дела. Дело – одно, люди – другое. Дело жалко, в него вложено слишком много, чтобы бросить. Вас – нет. Вас не жалко, вы сами себя разжаловали.

Вышел. Дверь закрылась тихо – хуже, чем если бы хлопнул, хуже, чем если бы закричал, хуже, чем если бы ударил.

Правота – не награда, а наказание. Быть правым – значит остаться одному: правых не любят нигде, а здесь – особенно: здесь предпочитают неправых, но своих, неправых, но удобных, неправых, но молчащих. Русская литература два века подряд воспевала правдорубов – от юродивых до диссидентов, – и два века подряд правдорубам ломали рёбра, сажали в остроги и выгоняли из страны. Ничего не изменилось: правда по-прежнему стоит дороже лжи, платят за неё всё так же те, кто её произносит, а не те, кто заслуживает её услышать.

Потом каждый рассказывал свою версию – и в каждой виноваты были все, кроме рассказчика. Так устроена память: она – адвокат, а не прокурор, и работает бесплатно, в отличие от настоящих адвокатов.

* * *

За окном взревел мотор – чёрная БМВ сорвалась с места и исчезла в потоке машин, в сером декабрьском дне, в Москве, равнодушной, как всегда.

Они остались – пятеро в прокуренном кабинете, среди разбросанных по столу договоров, квитанций, гарантийных писем, схем поставок. Полмиллиона – из воздуха, из двенадцати суток без сна, из упрямства и наглости одного человека, которому они не поверили, предали раньше, чем он мог предать их.

– Гениально, – Валера взял контракт с немцами, и руки дрожали, но уже не от страха – от стыда. – Чёртов гений. Сделал невозможное. А мы…

– А мы только что плюнули ему в лицо, – Елизавета собирала бумаги в папку, и пальцы подрагивали, выдавая то, что голос скрывал. – Всей командой. Дружно. Хором. Как в детском саду, только не песенку спели, а человека закопали заживо.

Валера смотрел на дверь – закрытую, молчащую. Опять спас. Опять вытащил. Опять сделал то, что никто из них не смог бы – ни за двенадцать дней, ни за двенадцать лет, ни за целую жизнь. И опять – за это получил по морде.

Но осадок остался. Горький, полынный – из тех, что лечат, но от них тошнит. Не поверили – при первом же испытании, при первой же возможности. И Сергей это видел. И не простит. Никогда. Есть вещи, не подлежащие прощению, и недоверие – одна из них.

Первая трещина прошла по команде – тонкая, почти незаметная, как трещина в фундаменте, годами прячущаяся под штукатуркой, невидимая, пока не начнёшь искать, а потом в одну ночь рушит весь дом, погребая под собой всех, кто в нём живёт.

Фундамент ещё держал, стены ещё стояли, крыша ещё не текла – но трещина уже была, и она будет расти.

Глава 5. Доклад генералу

или Почему даже стены имеют уши, а уши – погоны

В каждом русском офисе есть три вида сотрудников: те, кто работает, те, кто делает вид, что работает, и те, кто слушает первых двух. Последние обычно не числятся в штатном расписании, зато всегда получают зарплату вовремя – единственные в стране, кому государство платит без задержек, – информация стоит дороже нефти и газа, дороже золота и алмазов, дороже всего, что можно потрогать руками. Информация – это власть, а власть – единственный товар, который никогда не обесценивается, даже когда рубль падает быстрее, чем правительственные обещания.

Кабинет на третьем этаже здания на Лубянской площади. Декабрь, девять вечера – время, когда нормальные люди ужинают с семьёй или пьют пиво перед телевизором, а ненормальные сидят в кабинетах без окон и решают судьбы тех, кто ужинает и пьёт пиво. За окнами – Москва, освещённая редкими фонарями и неоновыми вывесками первых казино, которые росли как грибы после дождя, только грибы эти были ядовитыми и питались людскими жизнями. Памятник Дзержинскому снесли год назад, но тень его всё так же витала над площадью – призрак, не знающий, что умер, – впрочем, призраки здесь живут дольше живых, особенно если при жизни носили погоны и умели хранить чужие секреты.

Много лет спустя, когда всё уже случилось – и взлёт, и падение, и то, что было после, – я пытался понять: с какого момента мы попали под колпак? Когда именно серые люди в серых костюмах начали слушать наши разговоры, читать наши письма, заносить в свои папочки каждый наш чих и каждый наш вздох? Ответ оказался простым и страшным одновременно: с самого начала. С того дня, когда мы решили, что можно построить что-то своё, что-то независимое, что-то принадлежащее только тебе. Нельзя. Всё в конечном счёте принадлежит государству, а оно здесь – люди в погонах, которые никуда не делись, только сменили вывеску и пересели в другие кресла, такие же удобные и такие же пропахшие страхом тех, кто в них сидел до них.

Лубянка – это не просто адрес, не просто здание, не просто место на карте. Это диагноз. Это судьба. Это приговор, который выносят заочно и без права обжалования. Здание построили в 1898 году для страхового общества «Россия» – и в этом ирония, которую оценил бы сам Салтыков-Щедрин, если бы дожил и не сошёл с ума от того, что увидел: страховали от несчастных случаев, а стали местом, где несчастные случаи производили в промышленных масштабах, на потоке, по плану, с выполнением и перевыполнением, как положено в социалистическом хозяйстве. Здесь люди исчезали бесследно, здесь крики не долетали до улицы, а если и добирались – их не слышали, – это было опасно: тот, кто услышал, становился следующим в очереди, которая никогда не кончалась.

* * *

Обставлен строго, без излишеств – наследие эпохи, когда роскошь считалась буржуазным пространством, подлежащим искоренению вместе с буржуазией. Хотя те, кто сидел в таких кабинетах, обычно имели дачи в Жуковке и пайки из распределителя, к которому простые смертные не допускались на пушечный выстрел. Революционная скромность – она для масс, для газет, для отчётов перед партией. Для тех, кто наверху, – другие правила, другие магазины, другая жизнь, о которой массы не должны знать, а если узнают – не должны помнить, а если помнят – не должны говорить вслух.

Зелёное сукно на столе, потёртое локтями предшественников, – сколько их было, этих хозяев стола, и где они теперь? Одни на пенсии, другие в земле, третьи сами стали строчками в тех папках, которые когда-то подписывали. Сейф в углу – немецкий, трофейный, с той войны, которая закончилась почти полвека назад, но которую здесь помнили лучше, чем вчерашний

день, – война – понятно, это враг, это победа, а мирное время – это смута, это непонятно кто враг и неясно, в чём победа. Портрет на стене – не Ельцина, не Горбачёва, которых здесь презирали одинаково, хотя и по разным причинам, – а Юрия Владимировича Андропова, единственного генсека, который вышел из этих стен и почти успел навести порядок. Почти – почки подвели, организм не выдержал: реформаторов здесь губят не враги, а собственные органы. В обоих смыслах этого слова.

За массивным столом – генерал-лейтенант Борис Павлович Крючков. Однофамилец бывшего председателя, того самого, который путч устраивал и которого теперь судили под камеры, но не родственник – в органах это уточняли сразу, при первом знакомстве, чтобы не было недоразумений, любые ошибки здесь заканчивались плохо, а иногда просто человек исчезал, и никто не спрашивал куда. Шестьдесят шесть лет – возраст, когда нормальные люди разводят помидоры на даче, ругают правительство у телевизора и рассказывают внукам про войну, которую не видели. Но Борис Павлович не был нормальным человеком – он был генералом. А генералы не уходят на пенсию – они входят в историю. Или в могилу. Третьего не дано, – третье – забвение, а его они боятся больше смерти.

Седые виски, коротко стриженные по уставу, который соблюдался даже тогда, когда все остальные уставы давно забыли. Взгляд того, кто видел достаточно, чтобы ничему не удивляться, – видел, как люди предают друзей за повышение, как герои становятся предателями за деньги, как идеалы рассыпаются в прах от одного прикосновения реальности. На кителе – планки наград советского образца: Афганистан, о котором не любят вспоминать, операции, о которых не пишут в газетах, люди, о которых не говорят даже на поминках. Руки на столе – крупные, с набухшими венами, с никотиновой желтизной, которую не отмыть. Руки человека, который начинал не с бумаг, а с того, о чём бумаги потом писались.

* * *

Перед ним – майор Андрей Петрович Петров. Тридцать девять по паспорту, но седина в висках и морщины у глаз прибавляли добрый десяток – такое бывает с людьми, которые слишком много знают и мало спят, которые живут двойной жизнью и не помнят, какая из них настоящая. Стоит по стойке смирно, хотя генерал жестом предлагал сесть – не сел, знал, что генерал проверяет, знал, что каждое движение здесь читается, каждый жест интерпретируется, каждое слово взвешивается на невидимых весах, где гирями служат чужие жизни. Лицо неподвижное, как у человека, привыкшего слушать больше, чем говорить, – профессиональная деформация, которая со временем становится второй натурой, а потом – единственной.

Генерал листал папку с донесениями – неторопливо, внимательно, так читают не для информации, а для понимания, для того, чтобы увидеть за буквами людей, за словами – намерения, за фактами – возможности. Фотографии, схемы, расшифровки разговоров – всё аккуратно подшито, пронумеровано, разложено по датам и темам. Техника шагнула вперёд – раньше агенты сидели с ухом у стены, напрягая слух и рискуя быть застуканными, теперь микрофоны размером с булавочную головку, которые можно спрятать где угодно и которые работают месяцами без замены батареек. Прогресс. Единственное, что развивается стабильно, – методы слежки за собственными гражданами: люди – главная угроза любому государству, особенно тому, которое называет себя народным.

– Значит, вернулся наш уралец, – генерал отложил фотографию, на которой Сергей выходил из машины у офиса на Якиманке, и голос его – глуховатый, с хрипотцой от тридцати лет «Казбека» – прозвучал почти задумчиво – человек, размышляющий вслух и не ожидающий ответа. – Не с пустыми руками?

– Никак нет, товарищ генерал. – Петров докладывал чётко, но без казённой сухости, которая раздражала начальство больше, чем ошибки в работе. – Бартерная схема. Уголь из Кузбасса, металл с Урала, станки в Германию. За полторы недели провернул операцию, на которую у других ушли бы месяцы.

– За полторы недели? Такую махину? – В голосе генерала прозвучало похожее на уважение, хотя уважение к объектам разработки здесь не поощрялось.

– Конец года, товарищ генерал. Всем фонды закрывать, все торопятся списать то, что не списали за одиннадцать месяцев. Плюс он свердловский – а это значит, связи, которые не рвутся, которые идут от детского сада до кладбища.

– А-а, – генерал протянул это «а» со значением, как протягивают коньяк на языке, смакуя послевкусие, – свердловский. Тогда понятно.

* * *

И в этом «понятно» было всё – и признание, и опасение, и профессиональный интерес. Свердловские – как сицилийцы в Америке, как корсиканцы во Франции, как любое закрытое сообщество, где своя честь, свои законы, своя омерта, которую не нарушают даже под пытками. Только вместо солнца и моря – Урал и зоны, вместо оливок и вина – водка и шансон, вместо семейных кланов – дворовые братства, которые крепче любых кровных уз, – кровь – случайность, а двор – это выбор.

– Докладывай по связям, – генерал откинулся в кресле, которое скрипнуло под его весом, как скрипит всё в этом здании, напоминая о том, сколько людей здесь сидело и сколько отсюда не вышло. – Только не по бумажке. Своими словами, как человек человеку, а не как подчинённый начальнику.

Петров позволил себе заминку – перестраиваться с казённого на человеческий было непривычно, как переключать передачу на ходу, но он умел, этому тоже учили, – допрос – искусство, а оно требует гибкости.

– Связи глубокие, товарищ генерал. Корневые, те, которые не обрубишь топором. – Он достал схему из папки, развернул на столе – линии, стрелки, фамилии, даты, паутина, в которой каждая нитка вела к другой, а все вместе – к центру, где сидел паук. – Сергей родился в центре Свердловска, улица Короленко. Хрущёвка, первый этаж, двор-колодец. В соседнем доме – семья Казарянов. Эдик Казарян – друг детства, в одной песочнице замки строили, в одной луже кораблики пускали.

– Казарян – это который при Дедушке? – Генерал знал ответ, но спрашивал для протокола, для порядка, для того, чтобы майор чувствовал себя нужным.

– Он самый. Представитель Дедушки в Свердловске, правая рука, голос и глаза. Сейчас – серьёзный человек, к которому на приём записываются за неделю. А тогда – просто Эдик из соседнего дома, пацан с разбитыми коленками и вечно сопливым носом.

Генерал склонил голову – он понимал, что это значит, – лучше, чем любой социолог или психолог. В Советском Союзе двор и дом были государством в государстве, миром в миниатюре, где действовали свои законы и свои наказания. Пацаны, выросшие рядом, оставались связаны навсегда – крепче однокурсников, крепче сослуживцев, крепче даже родственников. Двор – первая и единственная школа жизни, диплом которой признаётся везде: здесь учат драться, молчать, терпеть, отличать своих от чужих и никогда не сдавать своих чужим, даже если чужие – это милиция, прокуратура или сама Лубянка.

* * *

– Дальше, – генерал побарабанил пальцами по столу, и в этом постукивании был ритм, знакомый каждому, кто служил: давай-давай, не тяни, время – деньги, а здесь – и жизни.

– В семьдесят седьмом – первый привод Сергея. Пятнадцать лет, хулиганка, условный срок, – малолетка. Там, в детской комнате милиции, он и познакомился с Олегом и Мишей.

– Это которые потом Центровых возглавят? – Генерал знал ответ, но ритуал требовал вопросов.

– Они самые, товарищ генерал. Олегу тогда семнадцать, Миша постарше – отмотал первый срок, с наколками, уже с репутацией. А Серый – пацан пятнадцати лет, но соображал быстро. Сошлись на картах.

– На картах?

– Олег с Мишей студентов катали в общаге политеха – снимали по двести рублей за вечер, хорошие деньги по тем временам. А у Серого голова работала лучше, чем руки – считал неплохо, запоминал расклады. Не гений, но толковый. Пригодился.

– И через них вышел на Тарланова?

– Именно так, товарищ генерал. Тарланов Игорь Павлович – фигура легендарная.

– Тарланов… – генерал прищурился, вспоминая. – Цеховик?

– Цеховик союзного значения. В семидесятых – подпольные цеха по всему Уралу: трикотаж, обувь, джинсы, всё, чего не было в магазинах. Миллионные обороты. Мы его разрабатывали три года – не посадили, обком прикрывал. Так вот, Тарланов курировал Олега и Мишу – они были его люди, его кадры. Когда Серый начал с ними играть, они его заметили – голова работает, соображает, руками махать не лезет. Порекомендовали Тарланову. Тот присмотрелся, оценил – и взял под крыло. Не сосед, не земляк – чистый расчёт. Увидел, что парень думать умеет, а таких мало.

* * *

В Союзе карты – не развлечение, не хобби, не способ убить время. Это теневая экономика, способ перераспределения социалистической собственности от тех, кто не умеет её защищать, к тем, кто умеет её брать. Кто умеет играть – при деньгах. Кто умеет считать – при власти. Кто умеет и то, и другое – при жизни, что в те времена было уже немало.

Советская власть, сама того не желая, вырастила поколение гениальных комбинаторов – людей, способных из воздуха сделать деньги, из мусора – товар, из ничего – всё. Семьдесят лет запретов научили обходить любые запреты, семьдесят лет дефицита научили добывать что угодно, семьдесят лет плановой экономики научили планировать так, как Госплану и не снилось. Когда империя рухнула и выяснилось, что новому миру нужны именно эти навыки – оказалось, что лучших специалистов по капитализму воспитала страна, которая капитализм ненавидела. Ирония, достойная русской литературы, – да и русская литература уже давно не поспевала за русской действительностью.

– Поэтому он в экономическом блоке, – продолжал Петров, водя пальцем по схеме. – Не силовик, не боец, не тот, кого посылают разбираться с должниками. Голова. Считает деньги, строит схемы, видит возможности там, где другие видят стены.

Генерал встал, прошёлся по кабинету – три шага к окну, три обратно, привычка, выработанная годами сидения в кабинетах, где нельзя выйти на перекур, когда хочется, где даже в туалет ходишь по расписанию. Паркет скрипел под ногами – старый, дореволюционный, который помнил шаги чекистов в кожанках, энкавэдэшников в синих фуражках, гэбистов в серых костюмах. Паркет помнил всё – и молчал, как положено паркету на Лубянке.

– Значит, имеем свердловского с корневыми связями, – генерал подвёл итог, как подводят итог бухгалтерской ведомости. – Друг детства – при Дедушке, правая рука. Первые контакты – будущие лидеры Центровых, через них вышел на Тарланова, цеховика союзного значения. Люди, которые через пять лет будут контролировать половину уральского бизнеса. Это не биография, Петров. Это приговор.

– Так точно, товарищ генерал. Такие не соскакивают, такие не уходят на пенсию, такие не становятся добропорядочными гражданами. Связи – они как татуировки: один раз набил – на всю жизнь, не сведёшь, не спрячешь, не объяснишь, что это было по молодости и по глупости.

– Что по текущим раскладам? – Генерал вернулся к столу, сел, сцепил руки перед собой – поза того, кто готов слушать долго и внимательно.

– Расклад сложный, товарищ генерал. Многоуровневый. Сергей – человек Дедушки, через Казаряна, через старые связи, через ту самую песочницу. Это одна сторона. Но есть Хиппи.

– Таганские?

– Другой лагерь, другая структура, другая философия. Вор в законе, коронован Япончиком в этом году – значит, признан на самом верху, значит, имеет право голоса на сходках, значит, за ним сила, с которой считаются. Молодой, дерзкий, амбициозный – из тех, кто не хочет ждать своей очереди, а хочет всё и сразу. А Дедушка – курд-езид, Казарян – армянин. Для Хиппи они чужие, пришлые, те, кого нужно либо подчинить, либо убрать.

– Война?

– Пока холодная, товарищ генерал. Обмен любезностями, демонстрация силы, проверка границ. Но Хиппи давит на «Серебряный диск» через Андрея – начальника отдела продаж, который думает, что умнее всех. Андрей платит таганским долю с левых тиражей, думает, что втихую, думает, что никто не знает.

– А Сергей?

– Между молотом и наковальней, товарищ генерал. Хиппи требует подчинения – или подписывай договор, или закопает. А Серый не может переметнуться – он человек Дедушки с детства, это как группа крови, не меняется. Это как если бы вы, товарищ генерал, перешли служить в Лэнгли. Технически возможно. Практически – один раз. И недолго – свои не простят, а чужие не поверят.

Генерал хмыкнул – впервые за весь разговор, коротко, как человек, ценящий хорошее сравнение.

* * *

– Что с прослушкой?

– Работает исправно, товарищ генерал. Три точки: телефон в приёмной, переговорная комната, кабинет Положенцева. Качество записи отличное – немецкая техника, ещё ГДР поставляла, до того как стену сломали. Вчерашний разговор особенно интересный.

– Докладывай.

– Команда двенадцать дней думала, что Сергей их кинул. Исчез, деньги из сейфа пропали – почти шестьсот тысяч долларов, всё, что было. Все решили: сбежал с общаком, как последняя сволочь. Готовились к банкротству, документы раскладывали, речи репетировали. А он по заводам мотался, сделку проворачивал, из воздуха деньги делал. Вернулся героем – бумаги на стол, полтора миллиона оборота, пятьсот восемьдесят чистыми. А ему вместо «спасибо» – предатель, в лицо, при всех. Уехал, хлопнув дверью так, что стёкла звенели.

– Трещина?

– Трещина, товарищ генерал. Пока маленькая, почти незаметная. Но такие трещины имеют свойство расти – особенно когда их поливают обидой.

Генерал качнул подбородком – он умел работать с трещинами, сорок лет опыта научили находить слабые места там, где другие видели монолит. Найти слабое место, надавить осторожно, расширить незаметно, использовать в нужный момент – технология, отработанная поколениями, проверенная на тысячах судеб.

– Что предлагаешь?

– Работаем через Положенцева, товарищ генерал. Москвич, интеллигент до мозга костей, хорошая семья, правильные связи. Бродского читает в оригинале, на английском, – переводы искажают ритм. С такими проще – они боятся скандалов больше, чем тюрьмы, боятся огласки больше, чем смерти. Репутация для них – как жизнь, а иногда и дороже.

– Кофе ему предложишь? О поэзии побеседуешь?

Старая шутка, передающаяся от поколения к поколению. «Кофе с Бродским» – вербовочный подход к интеллигенту. Мягкий, культурный, с цитатами из любимых авторов и намёками на неприятности, которые могут случиться, если не договориться по-хорошему.

– Именно так, товарищ генерал. Объясним расклад: партнёр связан с ворами союзного значения, сам того не ведая участвует в отмывании денег, которые пахнут кровью. Это статья –

не условная, реальная, с этапом и сроком. Можем помочь – если поможет нам. Взаимовыгодное сотрудничество, как говорят в новые времена.

– А если откажется? Бывают принципиальные.

– План Б. Невыездной. Для таких – как пожизненное, только хуже. Им же хочется в Париж, на Елисейские поля, кофе пить на Монмартре. Хочется в Зальцбург на фестиваль, в Вену на оперу, в Лондон на аукцион. А если нельзя? Если границу закрыли и непонятно, когда откроют? Задумается. Такие всегда задумываются, когда мир сужается до размеров Садового кольца.

– Хорошо. С Положенцевым работай. Мягко, без нажима, без угроз, которые можно записать на диктофон. Не пережми – такие ломаются внезапно, как хрустальные вазы, и собрать потом невозможно.

– Понял, товарищ генерал.

* * *

Вербовка интеллигента – отдельный жанр в искусстве спецслужб, отточенный веками и не изменившийся по сути со времён Третьего отделения. Грубую силу – для мужика, деньги – для купца, компромат – для чиновника. Для интеллигента – разговор. Задушевный, долгий, с цитатами, с пониманием, с чашечкой хорошего кофе и намёком на то, что мы ведь оба люди культурные, оба понимаем, как устроен мир, и не проще ли договориться, чем воевать. Русский интеллигент тщеславен – ему льстит, что государство обращается к нему лично, что его считают важным, что его мнение кого-то интересует. Сначала – гордость, потом – привычка, потом – зависимость, потом – невозможность выйти. Ловушка, обитая бархатом, – но от этого не менее ловушка.

– Что по остальным?

– Елизавета. Секретарь, правая рука Положенцева, его глаза и уши в офисе. Двадцать четыре года, Саратов, литературное образование – литературное – не формальность, а способ мышления. Умная – всё записывает в чёрную книжку, всё помнит, всё анализирует. Опасная порода: провинциалка с амбициями, с голодом в глазах, с желанием доказать, что она не хуже столичных, а лучше.

– Связи?

– Была одна ночь с Сергеем. «Метелица», блины на завтрак, «давай забудем» вместо прощания. Потом – глухая стена, ни взгляда, ни слова, только работа и холод.

Генерал сделал пометку в блокноте – карандашом, по старой привычке, – карандаш можно стереть, а ручку – нет. Женщины – фактор непредсказуемый, как погода в горах, как настроение начальства, как курс рубля. А непредсказуемость можно использовать – это он знал точно.

– А что по Орлову?

– Аркадий Орлов. Бывший комсомол, секретарь по идеологии, теперь – телевидение, новая идеология для новых времён. Эфирное время, реклама, западные сериалы, которые смотрит вся страна. Строит вертикаль: от производства контента до экрана, замкнутый цикл, в котором каждое звено приносит прибыль.

– Связь с объектами?

– Положенцев у него с восемьдесят третьего, до «Серебряного диска». Знакомы по комсомольской линии, вместе на семинарах сидели, вместе водку пили на загородных базах. «Серебряный диск» поставляет артистов, Орлов даёт эфиры – симбиоз, взаимовыгодное партнёрство.

– Пока симбиоз, – уточнил генерал, и в этом «пока» было всё, что нужно было знать.

– Так точно. Орлов – акула, товарищ генерал. Ему не нужны партнёры – ему нужны структурные единицы, которые работают на него и выполняют его команды. «Серебряный диск» – лакомый кусок: артисты, каталог, связи, инфраструктура. Всё это можно взять – вопрос только в цене и в методе.

– А Сергей?

– Сергей не в курсе. Положенцев работает с Орловым за его спиной, с самого начала. Встречаются отдельно, договариваются отдельно, планы строят отдельно. Для Орлова Сергей – помеха, камень в ботинке. Упрямый, независимый, с принципами, которые не продаются. Таких не покупают – таких обходят. Или убирают.

Генерал приподнял бровь – единственное выражение удивления, которое позволял себе:

– Интересно. Партнёры, значит, а один другого втёмную сдаёт. Классика жанра.

– Именно так. Когда Орлов решит, что время пришло, – Положенцев сдаст партнёра, не моргнув глазом. Это вопрос не «если», а «когда».

– Орлова не трогать, – генерал вернулся к столу, сел, сцепил руки.

– У него свои покровители, на которых у нас нет выхода. Но фиксировать всё. Когда Положенцев начнёт сдавать партнёра – я хочу знать первым. До того, как он сам поймёт, что уже начал.

* * *

Мы узнали обо всём этом много лет спустя – из рассекреченных архивов, из мемуаров перебежчиков, из пьяных откровений отставников. Узнали, что нас слушали с первого дня, что каждый наш разговор ложился на стол человеку в погонах, что наши ссоры, наши планы, наши глупости становились строчками в папках, подшитых к делам, которые росли, как тесто на дрожжах. И самое удивительное – это не потрясло. Не возмутило. Не удивило. В стране, где государство подслушивало граждан три четверти века, слежка воспринимается как погода: неприятно, но привычно, и бессмысленно жаловаться. Жалобу всё равно прочитают те, на кого жалуешься.

Он подошёл к окну – тому самому, из которого открывался вид на площадь, где когда-то стоял Железный Феликс, а теперь было пустое место, которое никак не могли решить, чем заполнить. Москва внизу жила своей жизнью – равнодушная к тем, кто за ней наблюдал из этих окон, равнодушная к тем, кого наблюдали, равнодушная ко всему, кроме денег и власти. Никто не смотрел на окна Лубянки – рефлекс, выработанный за семьдесят лет: не смотри на Лубянку, и, может быть, Лубянка не посмотрит на тебя. Детская вера, наивная надежда – Лубянка смотрела на всех, просто не всем об этом сообщала.

– Знаешь, что говорил Юрий Владимирович? – голос генерала стал другим, мягче, почти мечтательным.

– Никак нет, товарищ генерал.

– «Мы должны знать всё обо всех. Не для того, что их сажать. А чтобы никого не нужно было наказывать». Умный был человек. Единственный из наших, кто понимал, что страх работает лучше, когда его не применяют, когда он просто висит в воздухе, как запах, как тень, как возможность.

Он помолчал, глядя на город, который был его вотчиной, его ответственностью, его крестом.

– Конфликт между Дедушкой и Хиппи – наблюдай внимательно. Не вмешивайся, не провоцируй, не помогай ни одной стороне. Пусть грызутся. Divide et impera – разделяй и властвуй. Римляне знали толк в империях.

– Слушаюсь, товарищ генерал.

– И помни главное. – Генерал повернулся, посмотрел в глаза, и взгляд его был холодным, как зимняя Москва за окном. – Нам не нужны мёртвые герои. Мёртвый герой – статья в газете, некролог, венок на могилу и забвение через год. Живой информатор – годы работы, тонны информации, возможности, которые открываются одна за другой. Чувствуешь разницу?

– Так точно, товарищ генерал.

– Через месяц – доклад. С конкретикой по Положенцеву. С планом работы, с запасными вариантами, с оценкой рисков. Свободен.

Петров козырнул и вышел – чётким строевым шагом, как положено, как учили. Шаги его затихли в коридоре, который помнил миллионы таких шагов и забыл миллионы таких людей.

* * *

Генерал остался один в кабинете, который был его домом больше, чем квартира на Кутузовском, больше, чем дача в Переделкино, больше, чем любое место, где он бывал за шестьдесят два года жизни.

Достал из сейфа «Арарат» пятнадцатилетний – подарок от друзей по Закавказскому округу, с тех времён, когда округ был наш, когда Союз был един, когда казалось, что так будет всегда. Налил в гранёный стакан, по-фронтовому – до краёв, без церемоний. Выпил молча, не чокаясь. Мёртвые не чокаются. А тех у него было много – больше, чем живых друзей, больше, чем хотелось помнить.

Разложил фотографии из папки на зелёном сукне стола – три лица, три жизни, три фигуры на доске, которые он расставлял уже год и которые должны были сыграть свою роль, когда придёт время.

Валерий Положенцев – интеллигентное лицо, очки в тонкой оправе, взгляд верящего в добро и справедливость. Наивный. Опасный своей наивностью, – такие непредсказуемы – не знаешь, когда проснутся, когда поймут, во что вляпались.

Сергей – глаза жёсткие, оценивающие, взгляд, который никому не верит и правильно делает. Этот не наивный. Этот опасный по-настоящему, потому что умный, и связи у него – те, что не рвутся.

Елизавета – молодая, красивая, провинциалка, которая знает себе цену и не собирается её снижать. Дикая карта в колоде, джокер, который может сыграть за любую сторону – или за себя.

Три человека. Три судьбы. Три карты в колоде, которую тасует время, – и никогда не знаешь, какая выпадет.

Генерал убрал фотографии в сейф – аккуратно, по одной, в том порядке, в каком они лежали. Посмотрел на портрет Андропова – тот смотрел в ответ холодными глазами знавшего всё про всех и молчал, – знание – сила, а сила – это всё.

Завтра Петров начнёт работу с Положенцевым. Чай, печенье, Бродский, разговоры об участи интеллигенции в новой России. А потом – крючок. Маленький, незаметный, но прочный. Такой, с которого не соскочишь.

Так вербовали всегда. При царе, при Ленине, при Сталине, при Хрущёве, при Брежневе, при всех, кто был после. Так будут вербовать, пока существует государство, – государство есть насилие, а насилие нуждается в информации. Кто владеет информацией – владеет миром. Остальные только думают, что живут – на самом деле они играют роли в спектакле, сценарий которого написан здесь, в этих кабинетах, людьми в погонах.

Генерал выключил настольную лампу. Кабинет погрузился в темноту – только отсвет уличных фонарей на портрете Андропова, только шум города за окном, только тиканье часов на стене, отмеряющих время, которого у всех – ограниченное количество.

Где-то внизу, в подвалах, которые официально не существовали, крутились бобины магнитофонов, записывая тысячи разговоров – любовные признания, деловые переговоры, пьяные откровения, тихие заговоры. Кто-то шептал любовнице слова, которые потом станут компроматом. Кто-то ругался с женой, не подозревая, что каждое слово записывается и подшивается в папку. Кто-то обсуждал сделку, которая должна была остаться тайной, но тайн здесь не было – были только отложенные разоблачения.

Секретов больше не существовало. Только информация, которая ждала своего часа.

Лубянка не спала. Лубянка никогда не спала – как не спит совесть преступника, как не спит боль в старой ране, как не спит память о тех, кого здесь убивали во имя светлого будущего, которое так и не наступило.

В этом была её сила – в бессоннице, в неусыпном надзоре, в знании того, что творится за каждой дверью и в каждой душе.

И в этом же – если вдуматься – было её проклятие. Потому что тот, кто знает всё обо всех, в конце концов перестаёт верить в людей. А тот, кто не верит в людей, – не совсем человек.

Генерал закрыл глаза. Завтра будет новый день. Новые доклады, новые папки, новые судьбы на зелёном сукне.

А пока – темнота, тишина и Лубянка, которая не спит, – как не спала никогда и, судя по всему, не собирается.

Глава 6. Выбор, которого нет

или Ресторан без вывески, разговор без протокола

В переулке между Пятницкой и Ордынкой, в полуподвале бывшего доходного дома: потолки сводчатые, стены кирпичные, оштукатуренные кое-где и кое-где уже нет, и в этой неопрятности угадывался стиль, который через десять лет назовут лофтом, а тогда называли «ремонт не закончили». Столов двенадцать, скатерти белые, крахмальные, из тех, что помнят советские банкеты и крымские санатории. Приборы серебряные, тарелки разномастные – Кузнецов и Дулёво вперемешку, как гости на коммунальной кухне. Пахло чесноком, топлёным маслом, свежим хлебом и тем необъяснимым, что бывает только в местах, где готовят не на поток, а на совесть.

Валера нашёл это место через знакомого немца, телевизионщика из Гамбурга, который снимал документалку о «новой русской кухне», не подозревая, что получится скорее фильм о вымирании старой. С тех пор ходил сюда по пятницам – один, без Сергея, без Елизаветы, без звонков и документов. Ходил обедать, а не ужинать, – обед – время одиночества, а ужин – время компромиссов, и компромиссов ему хватало с избытком.

Кухней заправлял Гиви – тбилисский грузин неопределённого возраста, похожий на постаревшего Мимино, с густыми усами и руками мясника, которые, впрочем, могли нарезать зелень с хирургической точностью. Он варил лобио три часа, ни минутой меньше, и к каждому горшку относился так, будто в нём не фасоль, а судьба народа, что, если вдуматься, было недалеко от истины. Меню не существовало – Гиви готовил то, что привезли с рынка, и объяснял это с достоинством человека, презирающего выбор: «Сегодня баранина, дорогой, а не нравится – приходи завтра, будет тоже баранина». Демократия по-грузински.

Валере нравилась грузинская кухня – не ресторанная, парадная, с хачапури размером с колесо и хинкали, слепленными для красоты, а домашняя, простая, та, что готовят для своих: лобио в глиняном горшке, чёрствый хлеб к нему, пхали из свёклы с орехами, зелень – кинза, тархун, базилик – охапкой, по-кахетински, где зелени не жалеют, потому что её много, а счастья мало. Он любил эту еду за то, за что любил музыку: за честность. Лобио не притворяется – это фасоль, специи и время, и результат зависит не от бюджета, а от терпения повара. Интеллигентская привычка – искать в еде метафору, но метафора была точной: в стране, где всё врало – телевизор, газеты, банковские гарантии, – фасоль не врала.

* * *

В ту пятницу, середина января, праздники кончились, похмелье нации перешло в хроническую стадию, – Валера сидел за угловым столиком. Перед ним – лобио в горшке, лаваш, графин с домашним «Мукузани» и стакан боржоми, настоящего, не поддельного, что было такой же редкостью, как честный депутат.

Документы, которые утром лежали на столе в офисе, не отпускали. Сергей провернул бартерную сделку на полтора миллиона марок за двенадцать дней. Вернулся, как Одиссей, только Пенелопа не ждала, а уже кроила саван. Цифры радовали – слишком радовали для страны, где хорошие новости предшествуют плохим, – затишье перед артобстрелом. Тревога ныла где-то под рёбрами – из тех, что не имеют причины и потому не имеют лекарства.

Он только налил себе второй стакан вина, когда от двери отделилась фигура – и Валера узнал её раньше, чем увидел лицо. Узнал по походке – размеренной, неторопливой, с тем особенным спокойствием, которое бывает у людей, никогда никуда не опаздывающих, – мир подстраивается под них, а не они под мир. Желудок сжался – мгновенно, рефлекторно, старый знакомый по прежним встречам на Лубянке, – силуэт в дверном проёме и голос, от которого по спине прошёл знакомый холодок.

– Валерий Иванович! Какая встреча!

Петров. Майор Петров, Андрей Петрович, – тот самый, что вызывал на Лубянку, тот самый, что приезжал в офис на Якиманке, тот самый, после чьих визитов воздух в комнате ещё сутки пах дешёвым казённым одеколоном и чужим присутствием. Здесь. В ресторане без вывески, в переулке, куда случайный человек не забредёт.

– Работаю тут недалеко, – Петров кивнул куда-то в сторону, – вижу знакомого человека, дай, думаю, подойду, поздороваюсь. Не помешаю?

И сел – не дожидаясь ответа, как и полагается людям его профессии, для которых «не помешаю?» означает «я уже здесь». Расстегнул верхнюю пуговицу пиджака – располагаемся, значит. Огляделся – быстро, профессионально, – для него любое помещение – объект: дверь, окно, кухня, количество столов, кто сидит, кто ушёл, кто слушает. Взгляд задержался на графине с вином – на секунду.

Работает недалеко. Ну конечно, недалеко – в самом центре Москвы все работают недалеко друг от друга: через переулок, через площадь, через дорогу. Объяснение простое, логичное, убедительное. Валера его принял – не потому что поверил, а потому что не хотел не верить. Не задумался, откуда Петров знает про ресторан без вывески, в полуподвале, куда не заглядывают прохожие. Не спросил себя, как случайная встреча происходит в месте, куда приходят только по рекомендации. Не спросил – — ответ был бы слишком неудобным, а Валера, как всякий интеллигент, предпочитал неудобным ответам удобные вопросы. Это была его ошибка – одна из многих, за которые потом придётся платить. Человек устроен так: если правда невыносима, он выбирает ложь и называет её здравым смыслом.

* * *

Подошла официантка – молодая, с усталым лицом, в переднике, выглаженном утюгом и судьбой.

– Что будете?

Петров обратился не к ней, а к Валере – вот оно, включение, мост: общий стол, общая еда, общий вкус, а дальше – общие дела, общие тайны, общие грехи.

– Я тут впервые. Что посоветуете, Валерий Иванович?

– Лобио, – сказал Валера. И зачем сказал – сам не понял, потому что советовать что-либо человеку из конторы – всё равно что учить волка есть: он знает лучше, и зубы острее.

– Лобио так лобио. И чаю, пожалуйста.

Не вина – чаю. Человек зашёл пообедать, а пьёт чай. На работе не пьют – старая контора, старые правила. Валера отметил это машинально, как отмечал всё, что касалось Петрова, – мозг работал на два режима: один слушал слова, другой считывал то, что за словами. Считывал – но не понимал, в этом и была беда.

А Петров не торопился. Расспрашивал про ресторан – кто хозяин, давно ли открылся, хорошее ли место. Обычные вопросы, какие задают за чужим столом, – вежливые, пустые, ни к чему не обязывающие. Похвалил район – тихо, уютно, не то что центр. Посетовал на погоду – январь, грязь, до весны далеко. Спросил, как дела в бизнесе – «в целом, в общем, не вдаваясь». Светская беседа, случайная встреча, два знакомых человека за обедом, – только у случайных встреч не бывает такой выверенной траектории, от погоды через бизнес к главному, как не бывает случайных выстрелов у снайпера: каждый ведёт к цели, просто цель пока не видна.

Принесли лобио для Петрова. Попробовал, кивнул – одобрительно, со знанием дела, как будто фасоль была частью досье.

– Хорошее место. Как нашли?

– Привели.

– Правильно. Лучшие вещи всегда находят через людей. – Помолчал. – Кстати, о людях. Как ваш партнёр? Давно его не видно.

«Кстати». Вот оно. Это «кстати» стоило всего предыдущего разговора – погоды, района, фасоли, – всё предыдущее было разгоном, разбегом, взлётной полосой, а «кстати» – точка

отрыва, после которой самолёт уже в воздухе и посадку не отменишь. У людей его профессии «кстати» никогда не означает «кстати». Оно означает – «а теперь к делу». Валера этого не понял. Валера подумал – кстати так кстати, нормальный вопрос, люди интересуются. Валера был умным человеком, но ум и понимание – вещи разные, как скрипка и умение на ней играть.

Валера поставил стакан с вином – аккуратно, руки хотели дрожать, а голова запрещала. Вино качнулось, тёмное, густое, – цвет, который минуту назад казался благородным, а теперь показался тревожным.

– Что с ним? – спросил Валера.

– Ничего, – Петров улыбнулся. – Пока ничего. Просто интересуюсь. Человек за несколько дней проворачивает сделку на полтора миллиона марок. Чисто, красиво. – Достал из кармана карандаш – короткий, заточенный до огрызка, «Кохинор», чехословацкий, – и покрутил между пальцами, не записывая, держа наготове. Блокнот не достал – в ресторане он разрушил бы конструкцию «случайной встречи», а Петров берёг её, – градусом больше – и суфле опадает. – По-вашему, это нормально?

– Бизнес есть бизнес.

– Бизнес… – Петров помолчал, разглядывая Валеру так, как энтомолог разглядывает бабочку перед булавкой, – с интересом и без сочувствия. – Когда кто-то делает миллион за полторы недели – у меня возникают вопросы. Откуда связи на заводах? Через кого выходил? На каких условиях?

За соседним столиком двое в кожаных куртках пили водку, не закусывая, – молча, сосредоточенно, по-рабочему. За стойкой Гиви нарезал хлеб и делал вид, что не слушает, хотя грузин, не слушающий чужой разговор в собственном ресторане, – явление столь же вероятное, как московский январь без снега. Радио бормотало «Европу Плюс» – тогда ещё новую, ещё не приевшуюся, звучавшую голосом другой жизни, которая, может быть, где-то существовала, только не здесь.

Валера удивился – откуда Петров знает про сделку? Про сумму, про сроки, про условия? Удивился, но объяснил себе: контора есть контора, у них работа такая – знать. Не задумался, что «знать» и «знать детали» – разные вещи, что детали знали единицы, и что знание деталей означает не просто интерес, а кое-что посерьёзнее. Не задумался – задуматься значило бы испугаться по-настоящему, а пугаться по-настоящему Валера был не готов. Пока не готов.

* * *

– Ваш партнёр – человек с биографией. – Петров отодвинул горшок, промокнул губы салфеткой – аккуратно, по-офицерски. – Судимость, связи в определённых кругах. А вы – человек другого сорта. Интеллигент. Консерватория, филармония… Бродский на полке.

Валера закурил – «Мальборо», спичка чиркнула в относительной тишине полуподвала, и огонёк высветил пальцы – подрагивающие, хотя Валера был уверен, что держит себя в руках. Уверенность – ещё одна роскошь тех лет, доступная всем и никому не помогавшая.

– Зачем вам такой компаньон?

– Затем, что он умеет делать свою работу.

– Работу… Знаете, что будет, когда методы его «работы» вскроются? А они вскроются – рано или поздно. Сядете оба. Он по привычке – для него зона не приговор, а командировка, он знает правила. А вы – впервые. Он выйдет через пять лет. А вы?

Пауза – длинная, расчётливая. В тишине зала звякали приборы – мирные, домашние звуки, которые делали слова Петрова ещё страшнее, – жуткое на фоне обыденного – страшнее вдвойне, как пистолет на кухонном столе.

– Человек вашего круга на зоне – это как рояль в курятнике: все знают, что ценный, но никто не умеет играть, зато все умеют клевать.

Сигарета в руке Валеры дрогнула – едва заметно. Петров уловил.

– Это угроза?

– Предупреждение. – Тон сменился – из казённого в почти человеческий, и переход был отработан так гладко, что шва не увидишь. – Жалко будет, если такой человек пропадёт. Из-за чужих грехов.

За стойкой Гиви что-то уронил на кухне – звон посуды, короткое ругательство по-грузински, – жизнь шла своим чередом, и Валера на секунду позавидовал Гиви, позавидовал разбитой тарелке, позавидовал грузинскому ругательству – всему, что было простым, понятным, настоящим.

* * *

– Знаете, что мне в вас нравится, Валерий Иванович? – голос стал тёплым, почти дружеским. – Вы – редкость. Человек, который любит музыку по-настоящему. Не ради прибыли, не для статуса – а по-настоящему, как любят то, без чего жить нельзя.

Валера молчал – отвечать было нечего, а молчание – хоть и плохая, но защита, как стена из песка: выглядит надёжно, рассыпается от прикосновения.

– Я ведь тоже музыку люблю. Не так, как вы, – проще, грубее. У нас дома пластинки были – «Мелодия», мать покупала, отец ворчал. Мать умерла в восемьдесят седьмом, отец пил, пластинки продал на барахолке, за бутылку. С тех пор слушаю по радио. Знаете, какая станция лучшая? «Европа Плюс». Но там – ваше, западное. А хочется своего, родного. Вот Алина – это родное.

Личная история – настоящая или выдуманная, не имело значения, потому что в устах конторского офицера любая история становилась инструментом, и отличить правду от легенды не мог бы никто, включая самого рассказчика, который, возможно, уже не помнил, где кончается досье и начинается он сам. Мёртвая мать, пьющий отец, проданные пластинки – каждая деталь подобрана так, чтобы объект увидел в офицере человека, а не погоны, – с человеком можно договориться, а с погонами – нельзя, и вся вербовочная наука строилась на этом простом фундаменте: сначала стань человеком, потом проси.

Гиви принёс чай – в армуде, по-азербайджански, с колотым сахаром на блюдце. Поставил перед Петровым молча, с выражением человека, который знает о гостях больше, чем они думают, и думает о гостях хуже, чем показывает. Петров кивнул – вежливо, снисходительно, и этот кивок выдал его больше, чем все слова: не ресторанный жест – столовский, привычка человека, которому подавали, а не обслуживали.

* * *

Петров отпил чаю – аккуратно, без звука. Поставил стакан и посмотрел на Валеру – прямо, без улыбки.

– Подумайте о моих словах. У вас есть шанс выйти чистым – свидетелем, а не обвиняемым.

Валера затушил сигарету – вдавил в остатки лобио за неимением пепельницы и сам поморщился от этого жеста, мелкого, нервного, выдающего.

– Я ни в чём не виноват.

– Знаю, – Петров кивнул с выражением абсолютного сочувствия. – Потому и пришёл. Помочь. Пока ещё можно.

«Пока ещё можно» – три слова, от которых холодеет живот. Не угроза, а прогноз. Не приговор, а диагноз. В устах петровых этого мира – ласковых, участливых, заботливых – «пока ещё можно» означало: скоро будет нельзя, и вы оба это знаете. Спешить не обязательно, но и медлить не стоит. Часы тикают. Мы подождём. Мы всегда ждём.

Поднялся – размеренно, не торопясь. Одёрнул пиджак, застегнул пуговицу. И уже стоя, между делом – а «между делом» у конторы и есть главное дело:

– Кстати. Алина прекрасно поёт. Жена без ума от её голоса. Билеты на мартовский концерт в «России» – достать невозможно. Поможете?

Вот он – крючок. Не повестка, не ордер, не угроза – просьба о билетах. Мелочь. Услуга. Ничего страшного, ничего необратимого, – разве что потом, через неделю, через месяц, через год, когда попросят ещё раз, и ещё, и ещё, каждый раз чуть больше, каждый раз чуть глубже, и в какой-то момент окажется, что выбраться уже нельзя, что ты давно внутри, что дверца захлопнулась, а ты даже не заметил когда.

– Сколько?

– Два. Хорошие места.

– Сделаю.

Сказал – и услышал себя со стороны. Голос ровный, спокойный, деловой – голос человека, который выполняет просьбу коллеги, а не сдаётся. Разница между «сделаю» по дружбе и «сделаю» по принуждению – в паузе, которая предшествует. Пауза была. Петров её засёк: объект колебался три секунды, значит – понимает, во что ввязывается, значит – не дурак, значит – годен.

– Вот, – Петров достал визитку. Белый картон, только имя и телефон. Никаких званий, должностей, ведомств – чистая, как лист бумаги, на котором ещё ничего не написано, но место уже размечено. – Позвоните, когда будут билеты.

Логика безупречная – визитка не для знакомства, визитка для дела. Не «на всякий случай», а «вот вам номер, вы обещали». Просьба превращала визитку в расписку, а расписку – в поводок: ты обещал, ты позвонишь, а позвонив – сделаешь шаг, и шаг этот будет не первым и не последним.

И тут Петров сделал то, ради чего, возможно, и подсел за этот стол, – то, что отличает ремесленника от мастера, солдата от офицера, допрос от вербовки. Уже в полшаге от стола он обернулся – легко, как будто вспомнил пустяк:

– Да, и вот ещё… У вас в кабинете, на стене – постеры, фотографии. Элвис, «Битлз», «Роллинги» – это понятно, это для всех. Но одна выделяется. Чёрно-белая, не глянцевая. Человек с лицом бродяги и глазами поэта. Висит отдельно, в углу. Том Уэйтс, если не ошибаюсь?

Сказал – и пошёл к выходу, не дожидаясь ответа. А ответа и не требовалось. Требовалось другое – чтобы Валера почувствовал. И Валера почувствовал – холодок, мгновенный, как от сквозняка. Не понял – почувствовал. Разница огромная: понять – значит сделать вывод, а почувствовать – значит поёжиться и забыть. Валера поёжился. Откуда он помнит фотографию? Наверное, заметил, когда приезжал в офис, – у него профессия такая, замечать. Объяснение удобное, успокаивающее, и Валера за него ухватился – других объяснений не было. Не пришло ему в голову, что Петров описал не просто фотографию – а расположение, угол, отдельно от остальных, – так не запоминают мимоходом, так запоминают по описи. Не Элвиса для гостей – а Уэйтса для себя. Не фасад – а то, что за ним. Но Валера этого не понял. Поймёт позже. Все понимают позже – когда уже поздно.

Петров шёл к выходу мимо столиков – мимо двоих в кожанках, мимо одинокой женщины с газетой, мимо Гиви за стойкой, – и ни один из них не повернул головы, – Петров был из тех людей, которых не замечают, как не замечают сквозняк: холодом обдало – а откуда дуло, не помнишь.

Так вербовали при Николае, при Ленине, при Сталине – менялись костюмы и ведомства, менялись фамилии на визитках и адреса конспиративных квартир, не менялся только метод: человеку давали понять, что он на крючке, и весь вопрос – дёргаться или плыть по течению. Большинство плывёт, – дёргаться больно, а плыть привычно.

* * *

Валера остался за столом. Лобио остыло – горшок потемнел, масло застыло по краям, зелень пожухла. Аппетит пропал, и не от еды, а от разговора, от этого «кстати», от Уэйтса в конце, от чего-то неуловимого, что он не мог назвать словами, но что сидело внутри занозой – не больно, но и забыть не даёт.

Он сидел и думал. Не о Петрове – о Сергее. Слова Петрова не отпускали: судимости, связи, зона. Что он, Валера, знает о Сергее? О его прошлом, о друзьях с Урала, о делах, которые тот называл «своей частью работы» и о которых не рассказывал? Телефонные разговоры, обрывавшиеся, когда Валера входил в комнату. Люди с тяжёлыми взглядами, приезжавшие на переговоры и никогда не представлявшиеся. Командировки, из которых Сергей возвращался усталый и молчаливый. «Не бери в голову, Валера, это моя часть». Феня, расклады – другой мир, куда его не пускали. Он думал – из уважения. А если из расчёта? Чем меньше знаешь – тем меньше расскажешь, когда придут спрашивать.

Вино кончилось. Визитка лежала на скатерти рядом с хлебной корзиной – белый прямоугольник, который весил не больше спички, а давил, как плита. Позвонить – значит сделать шаг. Не позвонить – но он уже пообещал билеты. Третьего не было, и Валера подозревал, что третьего не было никогда.

Нельзя быть чистым – можно быть менее грязным, чем остальные, и это максимум. Валера понимал это не из книг – понимал из собственных пяти лет в бизнесе, где каждый контракт подписывался одной рукой, а другой давалась взятка, где каждая сделка была наполовину законной и наполовину нет, и граница проходила по живому.

Гиви подошёл – неслышно, по-кошачьи.

– Ещё вина, дорогой?

– Нет. Счёт.

– Друг твой заплатил за себя, – сказал Гиви, и в слове «друг» было столько иронии, сколько не вмещает ни один грузинский тост. – Даже чаевые оставил. Скупые.

Заплатил сам – не дал заплатить за себя, – Петрову нужна не благодарность, а страх, и страх оплачивается по другому прейскуранту. Но Валера и об этом не задумался. Подумал – вежливый человек, не нахлебник. Вот так – подумал и успокоился. Интеллигенты – они такие: ищут в людях лучшее, даже когда лучшего там нет и не предполагалось.

* * *

На улице было холодно – январь, сумерки, переулок без фонарей. Снег шёл мокрый, тяжёлый, московский – не тот, что ложится, а тот, что падает и тут же превращается в грязь. Валера шёл к машине, и визитка лежала в кармане пиджака. Сел, завёл двигатель, включил печку. Стёкла запотели, и мир за окном расплылся – фонари, дома, прохожие превратились в цветные пятна, и на секунду показалось, что можно так и остаться – в запотевшей машине, в переулке, между прошлым и будущим, между «сделаю» и «не буду», – остаться и ждать, пока всё рассосётся само.

Не рассосётся. Синяки рассасываются. Конторы – нет.

* * *

Валера позвонил через три дня. Достал билеты – два, партер, восьмой ряд. Петров поблагодарил – коротко, по-деловому, голосом человека, получившего ожидаемое: не подарок, а должное. Сказал: «Спасибо, Валерий Иванович. Жена будет рада. Как-нибудь пообедаем – есть тема для разговора». Валера ответил: «Посмотрим». Короткое слово – «посмотрим» означает согласие, просто произнесённое голосом того, кто ещё не готов в этом признаться.

Крючок вошёл мягко – как входит в воду рыба, привыкшая к наживке: не рывком, а скольжением, без боли, без сопротивления, почти с удовольствием, – наживка пахнет едой, а едой в те годы пахло всё, чего не хватало: безопасностью, принадлежностью, иллюзией того, что кто-то рядом, кто-то знает, как спасти.

Визитка перекочевала из кармана в ящик стола – среди договоров, квитанций, других бумаг, которые когда-нибудь станут доказательствами. Чего именно – Валера пока не знал. Узнает позже. Правда приходит, как зима: все знают, что будет, никто не готов, и каждый раз – как в первый раз.

А в ресторан на Пятницкой Валера больше не ходил. Не оттого что понял – он так и не понял, в этом-то и горечь. Чувство не отпускало: смутное, безымянное, из тех, что не формулируются, а ноют, как старый перелом перед дождём. Лобио, которое он любил за честность, стало другим на вкус – не хуже, не лучше, а просто другим, как становится другим всё, к чему прикоснулась контора. Они отравляют не ядом – присутствием, и противоядия не существует, – яд – не в веществе, а в ощущении, которое не выветривается, – запах казённого одеколона из кресла, в котором час сидел незваный гость. Валера не знал, что отравлен. Он думал – просто расхотелось. Бывает.

У Валеры будущее было – только не то, которое он себе представлял.

Глава 7. Пираньи

или Два хищника над одной тушей

В аквариуме кормёжка начиналась в шесть – Мальцев следил за расписанием строже, чем за графиком совещаний, потому что пираньи, в отличие от подчинённых, не прощают задержек. Маленькие, невзрачные, похожие на обычных карасей, – пока не увидишь, как они едят. Стая срабатывала мгновенно: вода вскипала, корм исчезал, и через секунду снова тишина – только круги на поверхности, расходящиеся к стенкам. Мальцев любил этот момент. Скорость, точность, результат. Ни жалости, ни сомнений, ни лишних движений. Идеальная модель бизнеса – если бизнес очистить от вранья про социальную ответственность и прочую демагогию, которую он сам произносил на телекамеру с таким же выражением лица, с каким когда-то зачитывал доклады на комсомольских пленумах.

Январь, шесть вечера, за окнами темно. Внизу привокзальная площадь жила своей вечерней жизнью – огни ларьков, чад шаурмы, гул толпы, который на третьем этаже сливался в ровный гудящий фон, похожий на шум крови в ушах. Пираньи накормлены. Мальцев – нет.

Петров позвонил за час – голос плоский, бесцветный, из тех, что не запоминаются, а врезаются. Представился сотрудником комитета по экономической безопасности. Название новое, суть старая: аббревиатуры меняются чаще, чем правительства, а люди в них сидят те же самые, и взгляд тот же – оценивающий, примеривающийся, как у мясника над тушей.

Мальцев не удивился. Рано или поздно приходят ко всем – к одним за тем, что есть, к другим за тем, чего нет, но можно придумать. Дождался.

* * *

Человек вошёл в шесть пятнадцать – невысокий, в неприметном костюме, из тех людей, которых не запоминаешь и не можешь потом описать. Секретарша доложила: «Андрей Петрович, комитет по экономической безопасности», – и по тому, как она это произнесла, Мальцев понял всё. Не из тех контор, что заседают и выносят резолюции. Из тех, что приходят.

Повернулся от бара с бокалом в протянутой руке, и на лице расцвела улыбка – лучезарная, отработанная на тысячах комсомольских собраний и бандитских стрелок. Ширма, за которой можно думать.

– Чем обязан, Андрей Петрович?

Петров не взял протянутый бокал. Даже не посмотрел – смотрел в глаза Мальцеву, спокойно, не мигая. За стеклом аквариума пираньи замерли неподвижно – сытые, когда в воде появляется кто-то крупнее.

– На службе не пью. Правило.

– Правильно. – Мальцев не смутился, отхлебнул сам, причмокнул. Поставил второй бокал на край стола – аккуратно, рядом с фотографией жены и дочери в серебряной рамке. – Дисциплина – основа успеха. Я вот тоже правила соблюдаю. Например, никогда не работаю с теми, кто мне не симпатичен.

Пауза – профессиональная, рассчитанная до секунды. Тишина в разговоре – как соль в еде: без неё пресно, с ней вкусно, а если пересолить – есть невозможно.

– А вы мне симпатичны, Андрей Петрович. Человек старой закалки. – Произнёс это с тем особым уважением, которое ничего не стоит и ни к чему не обязывает, но собеседнику приятно. Имя он знал – секретарша доложила. Но имя в этом ведомстве значит не больше, чем вывеска на двери: за ней может быть магазин, а может – морг.

За окном завыла сирена «скорой» – резкая, надрывная, пробивающаяся сквозь двойные рамы, и тут же стихла, растворилась в гуле площади. В этом городе сирены выли так часто, что давно стали частью пейзажа, как дождь, как пробки, как очереди за водкой, – и никто не оборачивался, и никто не спрашивал, – ответ всегда одинаковый: кому-то не повезло. Боль-

шинству доставались шишки, а удача – тем, у кого хватало денег на отдельную палату или ума не попадать в больницу.

* * *

Петров достал из кармана фотографию. Положил на стол.

– Компания «Серебряный диск». Знакомы?

Мальцев взял снимок – Валера и Сергей на презентации альбома Алины, оба улыбаются, бокалы с шампанским, – и изучил с преувеличенным вниманием, хотя видел эти лица сотни раз. На афишах, в газетах, и в тех тягучих предутренних кошмарах, когда просыпаешься в поту и понимаешь, что кто-то обогнал тебя, поднялся туда, где ты должен был быть.

– «Серебряный диск», да. Занимаются дисками. А я – концертами. Не пересекаемся.

– Пока.

Петров встал, прошёлся по кабинету. Остановился у аквариума. Пираньи метнулись к стеклу – почуяли движение. Или что-то родственное, знакомое. Хищники узнают хищников – не глазами, а чем-то другим, каким-то чувством, которое у обычных людей атрофировалось за ненадобностью.

– Красивые рыбки. Голодные?

– Всегда.

– Я тоже люблю хищников. В них есть то, чего людям не хватает, – прямота. Хищник не притворяется травоядным. Говорит: съем. И ест.

Зеленоватый свет аквариума лёг на Петрова – черты стали другими, незнакомыми, подводными. Люди его профессии живут на глубине, куда ничего не доходит, и привыкают к темноте настолько, что она становится средой обитания. Где кончается человек и начинается ведомство – не может выяснить даже он сам.

Вернулся к столу.

– Они растут, Владимир Николаевич. Рано или поздно полезут на вашу поляну – не потому что хотят, а потому что бизнес заставит. А вы хотите на их. Диски – будущее, концерты – прошлое. Вопрос – кто первый.

– Ну, насколько я информирован, – Мальцев откинулся, изображая равнодушие, – у них финансовые затруднения. Партнёр свалил с деньгами.

– Информация устарела.

Петров произнёс это спокойно, почти сочувственно – тоном врача, объявляющего диагноз.

– Вернулся. Перед Новым годом. Бартер через Челябинск и Кузбасс, металл на технику, техника на валюту. Полтора миллиона, документы чистые. Финансовые затруднения – это вчера.

Новость ударила под дых. Мальцев умел держать лицо – старая выучка, – но Петров заметил – такие замечают всё, на то и поставлены, на то и обучены, на то и существуют в природе – как санитары леса, которые отбраковывают слабых, только лес этот – страна, а слабые – все.

– У нас точная информация. Очень точная, если вы понимаете.

Мальцев понимал. Прослушка, слежка, человечек внутри – секретарша, бухгалтер, кто-то из близких, продающий за деньги или за страх. Старые методы, которые никуда не делись, сколько бы ни переименовывали контору.

– Так в чём мой интерес?

– Сотрудничество. Вы давите экономически. Мы – административно. Проверки, налоговая, пожарные. Потом они сломаются – и их рынок можно перераспределить. В вашу пользу.

Вот так это и делается в стране, где двое пацанов посмели построить что-то своё – без спроса, без поклона, без конверта на нужный стол. Не украли, не отняли – построили. Руками, нервами, бессонными ночами на свердловской киностудии, где зимой изо рта шёл пар и паяль-

ник грели дыханием. А теперь двое в дорогом кабинете решают, как это отобрать, – спокойно, буднично, между глотком коньяка и следующей затяжкой сигары, с той же лёгкостью, с какой выбирают галстук к костюму.

– Что мешает мне додавить самому?

– Уралец. – Петров постучал пальцем по фотографии, по лицу Сергея. – Судимости, связи в определённых кругах – в тех, куда вам вход заказан. Может и поджечь напоследок. Ваш офис. Или вас лично.

– Допустим. Что вы хотите взамен?

– Информация. Помощь по мере надобности. Иногда – финансовая поддержка определённых проектов.

Откат. Прямым текстом не сказано, но понятно. Старая схема, которой столько же лет, сколько государству: ты мне, я тебе, и оба делаем вид, что на этом фундаменте можно строить, – строили, и тюрьмы в том числе, одно другому не мешало.

* * *

У двери Петров обернулся.

– И одно, Владимир Николаевич. Сергей – наша забота. Экономически давите сколько угодно. Физически – к нам.

– А если не руками?

– Можно и тоньше. Репутацию уничтожить. Или посадить того, кто рядом, кто дорог. Или создать проблемы с близкими.

– У него нет семьи.

– У него есть сестра в Свердловске. И женщина. Модель, из бывших.

Сестра. Женщина. Люди, которые никогда не слышали про бартерные схемы и компакт-диски, жили своей жизнью, варили борщ, водили детей в школу – а теперь стали разменной монетой в игре, правил которой не знали и знать не хотели. Государство всегда бьёт по своим: по жёнам, по детям, по матерям – по чужим бить страшно, чужие могут дать сдачи.

Мальцеву стало не по себе – такого не было давно, с тех самых пор, как сидел перед следователем и решал, сдавать подельников или садиться самому. Демпинг, чёрный пиар, переманивание артистов – бизнес, почти честный. Но шантаж через семью, удар по тем, кто не при делах, – от этого даже у него, съевшего не одну стаю на интригах, холодело внутри.

Петров вышел – неслышно, как вошёл. После него на столе осталась фотография, а в кабинете – тонкий привкус казённого мыла и канцелярской пыли, от которого не избавляются ни ремонтом, ни временем, ни переездом на другой континент.

* * *

Мальцев остался один. За стеклом аквариума пираньи скользили медленно, сыто – вечерняя кормёжка позади, до утренней далеко, можно не спешить. Мальцев позавидовал им: у рыб нет телефона, нет конторы, нет фотографий на столе, от которых сводит зубы.

Итак. Пришли – значит, серьёзно. Предложили помощь – значит, он теперь должен, а долги здесь отдают всю жизнь. Знают про бартерную сделку – стало быть, знают всё, про всех, и папочка где-то уже лежит, тонкая пока, но растёт. Папочки здесь растут быстрее, чем деревья, – те сажают для детей, а эти заводят для взрослых, и удобрение у них одно и то же: чужой страх.

Ладно. Хотите войну – будет война.

Он подошёл к окну, постоял – внизу площадь мерцала огнями ларьков, фарами такси, жёлтым светом привокзального фастфуда, открытого круглосуточно – вокзал, то место в Москве, которое не спит никогда, как не спит совесть у тех, кто торгует на нём шаурмой за рубль, пирожками за два и надеждой бесплатно. Развернулся, подошёл к телефону, сел в кресло, закурил сигару. Войну лучше начинать сидя – стоя начинают дураки, а сидя те, кто знает, что война длинная, и ноги ещё пригодятся.

Первый звонок – Коле, главному редактору «Московского комсомольца», старому знакомому по комсомолу, по тем временам, когда оба были молодые, голодные, циничные – и остались такими, только уже не молодые. Трубку сняли после второго гудка – газетчики всегда берут быстро – пропущенный звонок может стоить сенсации, а она в их мире дороже совести.

– Коля? Мальцев. Серия статей – пять материалов по четыре тысячи за каждый. Тема – «Серебряный диск». Уклонение от налогов, связи с криминалом. Ты найдёшь. Первый материал через три дня.

Коля нашёл бы, даже если бы искать было нечего – четыре тысячи долларов за материал в стране, где учитель получает сорок, превращают журналистику из призвания в ремесло, из четвёртой власти в первую древнейшую. Через три дня газета выйдет с заголовком про «мафиозные структуры в шоу-бизнесе» – и журналист не поморщится – морщиться за четыре тысячи непрофессионально. А Валера, который строил эту компанию, когда тот ещё лизал начальству туфли на летучках, – прочитает и не поймёт, за что. Мальцев положил трубку, стряхнул пепел с сигары в малахитовую пепельницу – подарок от рязанского губернатора за организацию предвыборного концерта, – и набрал следующий номер.

Директор программ Первого канала ответил сам – голос заспанный, недовольный, но проснувшийся мгновенно, как просыпаются при звуке определённых фамилий.

– Игорь Петрович? Рекламные контракты на квартал – увеличиваем бюджет в три раза. С условием: никакой рекламы «Серебряного диска». Ни артистов, ни концертов. Чтобы включаешь телевизор – и нет их.

Экран – не окно в мир, как врали при советской власти, а оружие, которое стреляет в мозги и попадает без промаха. Кого нет в эфире – того нет в жизни. Алина, которая год назад собирала «Олимпийский», завтра исчезнет с экранов, как исчезали неугодные с фотографий в тридцать седьмом, – только тогда хотя бы притворялись, что это идеология, а теперь даже не притворяются. Простая арифметика, доступная каждому, у кого хватает на рекламный бюджет, – а у Мальцева хватало – богатеют-то не те, кто создаёт, а те, кто отбирает.

Третий звонок – в налоговую. Четвёртый – депутату Госдумы, который брал за всё и поэтому стоил дёшево: дорого стоят те, кто берёт за что-то одно. Пятый, шестой, седьмой – голоса сливались, трубка нагревалась от ладони, сигара догорала в пепельнице, и Москва за окном темнела, густела, наливалась ночной чернотой – чернилами, которыми пишут приговор.

К полуночи Мальцев охрип. Двенадцать звонков. Журналисты, чиновники, продюсеры, два бандита среднего звена – на случай, хотя Петров и предупреждал. Машина запущена, шестерёнки закрутились. Остановить не мог уже никто.

На Якиманке, в пяти километрах отсюда, «Серебряный диск» считал деньги от бартерной сделки и строил планы на будущее. Валера рисовал графики, Елизавета сводила баланс, Андрей названивал поставщикам – живые люди делали живое дело, не подозревая, что двенадцать телефонных звонков из чужого кабинета уже превратили их будущее в прошлое. Так бывает в этой стране: пока ты работаешь – за тебя уже всё решили. Пока строишь – уже поделили. Пока веришь, что самое трудное позади, – самое трудное только начинается.

* * *

Мальцев встал, потянулся – спина затекла, колени хрустнули. Тело ныло, хотя никто никого не бил – была только невидимая ночная возня по телефону, за закрытыми дверями, между первой и третьей рюмкой коньяка. Наутро от неё не остаётся следов – только последствия, и бьют они больнее кулаков.

Подошёл к аквариуму. Постоял, глядя на пираний – сытых, неторопливых, скользящих в мутноватой воде. Поднёс палец к стеклу – рыбка метнулась, ткнулась мордой, отплыла. Пасть мелкая, частая, треугольная – у существа, которое не знает слова «достаточно» и не умеет останавливаться, – эволюция не заложила тормозов. Мудрая тварь – мудрее любого комсомольского секретаря.

Стая стала больше. Кроме пираний в ней теперь контора, пресса, налоговая, телевидение – весь тот механизм, который называется словом «государство» и работает по тому же принципу: сначала окружить, потом сожрать, потом забыть.

За окном мерцали привокзальные огни. Последняя электричка ушла, площадь пустела – только таксисты дремали в машинах, ожидая ночных поездов, и бездомная собака трусила вдоль рельсов, деловитая, озабоченная, занятая своими собачьими делами, которые были проще и честнее всего, что произошло в этом кабинете за вечер.

Глава 8. Съезд на Смоленской

или Гостиница «Белград», суббота, полгода до танков

Конференц-зал гостиницы «Белград» на Смоленской площади заполнялся с десяти утра – субботнее утро, март, мокрый снег за окнами и ощущение, что весна в этом году опоздает, как опаздывает здесь всё хорошее. Полгода до танков по Белому дому, до прямой трансляции с настоящими трупами вместо голов, – но этого ещё никто не знал, а кто догадывался, тот молчал, – за молчание платили лучше, чем за правду.

Двери распахнули в девять. К половине десятого в фойе уже толкались человек сорок – курили, матерились, обнимались с пылом разлучённых на годы, хотя встречались на прошлой неделе, на такой же точно пресс-конференции, только в «Президент-отеле» и за сорок долларов вместо пятидесяти. У гардероба, не работавшего с осени, – вешалки сломали, гардеробщицу уволили, – навалом лежали мокрые куртки, пальто, плащи. Кто-то перелезал через эту кучу, наступая на чужое без зазрения совести. Извиняться – привычка вымирающая, как мамонт: красивая, но нежизнеспособная.

Бывший интуристовский ковчег, где при Брежневе селили болгарских товарищей с ароматом розового масла, кубинских – с привкусом рома и революционных лозунгов, вьетнамских – с чем-то неопределимым, но несомненно социалистическим. Под этими люстрами подписывались договоры о вечной дружбе народов, которая оказалась не такой уж вечной. Теперь портреты Ленина сменились логотипами частных компаний, а в буфете, где подавали шампанское «для товарищей из-за рубежа», наливали настоящее французское – для тех, кто мог заплатить. Швейцар – тот же, в той же ливрее, с тем же выражением глаз, какое бывает у людей, переживших четверо похорон генсеков, три денежные реформы и одну смену общественного строя. Ко всему привык, ничему не удивлялся, стоял на своём месте, как стоит дерево на краю дороги, – мимо проносятся машины, меняются номера и марки, а дерево всё то же, только кора погрубела.

К десяти набились полторы сотни. Те, что без аккредитации, просочились на запах халявы – их пропустили – охрана тоже голодная и тоже хочет жить.

Воздух висел плотный, войлочный, – и пах. Дешёвый одеколон «Саша», три рубля за флакон, – разливали, судя по аромату, прямо из цистерны. Табачный дым слоями: «Мальборо» у телевизионщиков, «Ява» у газетчиков, «Беломор» у внештатников, которым гордость не позволяет признаться, что не при деньгах. Нервный, алчный пот людей, пришедших не работать, а зарабатывать – профессии разные. И ещё что-то неуловимое, кисловатое – запах продажности, у которого есть свой химический состав, как у страха, как у смерти. Запах человека, для которого сто долларов – мать родная, а полтинник – профессиональные принципы. Принципы, в отличие от матери, не плачут ночами и не звонят с упрёками.

Девушка в форменном жилете – тощая, с тёмными кругами от недосыпа – раздавала у входа конверты. Белые, плотные, без подписи. Протягивала молча, не глядя в глаза, как протягивают на похоронах стопку водки. «На транспортные расходы», значилось где-то в бухгалтерии, в той графе, которую никто не проверяет. Пятьдесят долларов. Пять хрустящих бумажек по десять – настоящих, не поддельных, хотя фальшивых ходило столько, что иногда настоящие казались подделкой. Мужик с бейджем «Известия» надорвал конверт, заглянул, пересчитал, кивнул, сунул во внутренний карман. Движения привычные, отработанные – так кладут деньги люди, которые точно знают, сколько в конверте должно быть и за что.

Недельный заработок челнока, тащившего баулы из Турции. Дневная выручка девочки на Тверской – не элитной, а обычной, уличной, которая радуется, что сегодня не били. Совпадение суммы и тональности будущей статьи никого не смущало – смущаться разучились одновременно со стесняться, верить и надеяться.

* * *

Мальцев вышел к трибуне, одёрнул пиджак – Versace, цвет морской волны, три тысячи долларов, – и улыбнулся. Зубы белые, дорогие, не здешние. Журналистка из второго ряда инстинктивно поправила юбку, мужик в свитере из «Орехово-Зуевского вестника» втянул живот. Три тысячи за костюм – в зале столько зарабатывали в год, и все это видели, и все это понимали, и именно для этого костюм был надет.

– Дамы и господа! – голос в микрофоне, бархатный, обволакивающий. Такой интонации учатся годами комсомольской работы, когда надо убедить людей, что план выполнен, хотя провален, премий не будет, но светлое будущее вот-вот наступит, честное комсомольское. – Спасибо, что пришли в субботу!

Кто-то хмыкнул в третьем ряду. Оператор НТВ – бородатый, в камуфляжной жилетке, увешанной кассетами, как патронташем, – навёл объектив и включил запись. Красный огонёк загорелся тускло, устало, – но техника работала, и то, что она сейчас запишет, завтра увидят миллионы, и миллионы поверят, потому что телевизор не врёт, телевизор показывает, а что показывает – то и правда, так было при Брежневе, так осталось при Ельцине, так будет всегда. Какие выходные? Российский журналист жил в щелях между халтурами: сегодня пресс-конференция за полтинник, завтра некролог за тридцать, если повезёт и кто-нибудь из знаменитых умрёт, послезавтра заказуха за двести, если хватит наглости написать то, что велели. Хватало обычно – совесть орган рудиментарный, как аппендикс: вырежи, и не заметишь.

– Мы собрали вас, чтобы объявить о новой эре в российском шоу-бизнесе!

Мальцев хлопнул ладонью по трибуне – привычный жест, отработанный на сотне заседаний. Потом выдержал паузу. Обвёл зал взглядом, задержавшись на первом ряду, где сидели операторы с камерами.

– Эре качества! Эре профессионализма!

На экране за его спиной вспыхнуло изображение – два компакт-диска, слева и справа, как на картинке «найди десять отличий». Слева – диск «Серебряного диска», нарочно выбранный из брака: потёки краски на обложке, кривая полиграфия, блёклые, как выстиранные до дыр, цвета. Справа – продукция «Русской музыки»: глянцевый буклет на шестнадцать страниц, голограмма защиты, переливающаяся радугой. Печатали в Швеции, на той же фабрике, что тиражировала Мадонну и Майкла Джексона. Седой критик из «Коммерсанта» снял очки, протёр стёкла, надел снова – и уставился на экран, как все.

– Смотрите сами! – Мальцев повёл лазерной указкой – игрушкой, ещё казавшейся чудом техники, – и красная точка запрыгала по экрану, как мушка прицела. – Слева – то, что выпускает «Серебряный диск». Вот так они относятся к покупателям!

Помолчал. Растянул губы – медленно, не торопясь.

– Справа – наша продукция. Мы печатаем в Швеции. Почувствуйте разницу!

Зал захлопал – и не только за конверт. Разница на экране была очевидна. О том, что из партии в десять тысяч штук специально выбрали самый кривой экземпляр, что это всё равно что судить о ресторане по помойке за чёрным ходом, – об этом никто не подумал. Или подумал, но смолчал – плотно сжав губы, отведя глаза и сделав вид, что смотришь в блокнот. Мужик из «Известий», тот самый, что пересчитывал бумажки при входе, строчил в блокноте, не поднимая головы, – быстро, уверенно, как пишут люди, которым не нужно думать над текстом, – он был придуман до них и без них. Купюры в кармане шуршали громче любой мысли.

Где-то на Якиманке, в офисе «Серебряного диска», Валера в эту минуту считал выручку и не подозревал, что его бракованный диск – из партии в десять тысяч нормальных – прямо сейчас красуется на экране перед полутора сотнями купленных перьев. Что рынок, который они с Сергеем подняли с нуля, без конвертов и партийных связей, через неделю в газетах будет называться «рухнувшей монополией».

* * *

Из первого ряда поднялась журналистка – Ольга Крымова из «Московского комсомольца». Крашеная блондинка с корнями, отросшими на два пальца, – на хорошего парикмахера денег не было, а плохой сожжёт волосы к чёртовой матери. Юбка короткая настолько, что было видно не только, где заканчиваются ноги, но и где заканчивается профессия. Встала, поправила блузку, откашлялась – всё это с видом человека, задающего главный вопрос десятилетия, хотя тот лежал у неё в сумочке, на листочке, написанный чужим почерком, рядом с конвертом, в котором лежали триста долларов – шесть бумажек по пятьдесят, новеньких, свежих, пахнущих типографской краской и компромиссом.

– Владимир Николаевич, – голос звонкий, пионерский, – а как же «Серебряный диск»? Они ведь первыми начали выпускать компакт-диски в России! Они создали этот рынок!

За эти деньги от неё требовалась всего одна реплика в нужный момент. Она её произнесла. Мальцев чуть прикрыл веки – едва заметно, как суфлёр, убедившийся, что актриса не забыла текст.

Мальцев посмотрел на неё – ласково, покровительственно, – своё добро не обижают:

– Оленька, дорогая! – Крымова дёрнулась, но промолчала: за триста долларов можно потерпеть и «Оленьку». – Первый автомобиль в России появился в 1896 году. Знаете, где он сейчас? В музее! А мы с вами ездим на «Мерседесах». Понимаете аналогию?

Засмеялись – искренне, громко, дружно. Тот самый мужик в свитере, приехавший на метро с двумя пересадками и без завтрака, – смеялся громче всех. Мальцев дождался, пока стихнет, и поднял ладонь – довольно, аплодисменты приняты.

* * *

– Пользуясь случаем, – Мальцев поправил запонку на манжете, помедлил, давая залу время затихнуть, – рад объявить… Владимир Пресняков-младший подписал эксклюзивный контракт с «Русской музыкой»!

Вспышки фотоаппаратов стрекотнули пулемётной очередью. Камеры включились одновременно, как по команде. Пресняков – молодой кумир, чьи песни неслись из каждого окна и каждого ларька. Если он перешёл – значит, бежать пора всем, медлить нечего, кто последний, тому троллейбус и пешком. Кто-то в среднем ряду уже набирал номер на мобильном – здоровенном, как кирпич, стоившем полторы тысячи долларов и весившем столько же, сколько амбиции его владельца. Звонил в редакцию, диктовал: «Пресняков перешёл… да, эксклюзив… ставь в номер». Новость расходилась кругами, – вода мутная, камень фальшивый, но круги шли настоящие.

Двести тысяч авансом – об этом в зале не знал никто. И о том, что запишут его на той же студии, у тех же звукорежиссёров, теми же методами, – тоже. Изменится логотип на обложке. Больше – ничего. Но логотип значил больше, чем содержание, – как значила больше вывеска над магазином, в котором продавали тот же товар, только дороже.

На экране появился график – красная линия вверх, синяя вниз. Цифры можно было нарисовать любые – кто проверит? – и Мальцев это знал, и журналисты это знали, и все делали вид, что не знают, потому что притворяться в этом зале умели лучше, чем писать. Общее направление соответствовало истине, ложь была не в направлении, а в масштабе, – но для красной линии, рвущейся вверх, масштаб значения не имел, она была красивая, она была убедительная, она летела в будущее, и зал смотрел на неё, как смотрят на фейерверк – задрав голову и открыв рот.

– Деньги – это сила, – подытожил Мальцев, и в зале стало тихо – не тишина почтения, а тишина узнавания: каждый в этом зале знал эту формулу, жил по ней, и слышать её вслух было как слышать собственный диагноз, который давно поставил себе сам, но держал при себе. – Сила – это деньги.

Помолчал. Огляделся. Поправил лацкан версачевского пиджака.

– Приглашаю всех на фуршет!

* * *

У столов с закусками образовалась давка, от которой Дарвин прослезился бы: естественный отбор в чистом виде, побеждал тот, у кого локти острее и стыда меньше. Столы накрыли длинные, банкетные, с белыми скатертями, которые через десять минут стали серыми от пепла, мокрыми от пролитого шампанского и липкими от икорного сока. Бутылки выстроились рядами – «Советское шампанское», армянский коньяк, водка «Столичная», – и рядом, для контраста, французское «Моэт», которое пили те, кто хотел выглядеть дороже, чем был. Официантка – пожилая, в белом переднике – смотрела на происходящее с выражением женщины, которая видела штурм буфета в ГУМе и знала, что оголодавший человек опаснее вооружённого.

Парень в потёртой куртке с Черкизона – двадцать долларов под видом итальянской, шили в Китае из того, что осталось от китайских коров, – с серьгой в ухе, с голодом в глазах. Накладывал икру столовой ложкой – не на хлеб, не на блин, просто горкой в тарелку. Вторую ложку – в карман, завёрнутую в салфетку. Третью – в рот, прямо так, стоя.

– Димон, ты чего завтра сдаёшь? – сосед, тощий, потёртый, циничный, с авторучкой за ухом и пятном от кетчупа на рукаве.

– Про «Серебряный диск». Тысяча слов, сдача в шесть утра. – Димон не отрывался от тарелки. – «Закат эпохи», «крах монополии», «новые времена» – ну, ты понял.

– Уже написал?

– А чего писать? – Оторвался наконец, посмотрел на собеседника с искренним удивлением. – Пресс-релиз на три страницы, цитаты готовые, местами поменять. Полчаса работы.

– Сколько?

– Триста.

Сосед присвистнул – тихо, уважительно. Триста за полчаса. Полугодовая зарплата его матери, которая ведёт математику в школе и верит, что образование – это сила. Мальцев только что объяснил, что сила – деньги. Мать бы не согласилась. Но мать сюда не пригласили.

У дальнего конца стола, у коньяка – а коньяк кончался быстрее всего – икру можно завернуть в салфетку, коньяк надо пить на месте, – парень в очках рассказывал приятелям, загибая пальцы:

– Три материала за неделю. «Закат империи Серебряного диска», «Крах амбиций провинциального продюсера», «Агония монополиста». Редактор руки целует.

– А если не закроются?

Очкарик отхлебнул коньяка, причмокнул:

– Тогда напишу «Возрождение из пепла». Хорошая история работает в обе стороны. Главное – вовремя переворачивать.

Через неделю эти статьи выйдут – три у Димона, пять у Коли, серия на Первом канале, плюс налоговая проверка, пожарная инспекция, депутатский запрос. Вся машина, которую Мальцев запустил дюжиной ночных звонков из кабинета с видом на Тверскую, будет работать слаженно, как часы, – и каждая шестерёнка будет думать, что крутится сама по себе, по доброй воле, по велению служебного рвения. Валера откроет газету за утренним кофе – кофе остынет, так и не допитый, – и не узнает себя: монстр, уклонист, мафиози, человек, которого он никогда не видел в зеркале. Перечитает дважды, сложит, положит на стол и долго будет смотреть в окно – на мокрый асфальт, на прохожих, которым нет до него никакого дела. Елизавета аккуратно вырежет статью ножницами, вложит в папку и подпишет дату – она всегда подписывала дату, даже когда это было больно. А Димон на свои триста купит матери зимние сапоги, и мать наденет их, не спросив, откуда деньги, – откуда не спрашивают, спрашивают сколько.

Коньяк кончился первым. Потом икра. Потом интерес. К восьми вечера зал опустел – столы с объедками, пустые бутылки, окурки в тяжёлых хрустальных пепельницах, ещё советских, ещё помнящих пепел кубинских сигар. В карманах – зелёные бумажки. В головах – фразы

завтрашних статей, хлёсткие, заказные, грамотно сделанные. В желудках – халявная икра. Всё остальное – то, о чём когда-то говорили преподаватели на журфаке, то, ради чего шли в профессию, – переваривать было нечему. Не предлагали. Не заказывали. Вымерло, не выдержав конкуренции с долларом.

* * *

Уборщица – женщина лет пятидесяти, в синем халате, со шваброй – собирала тарелки, бычки, стеклотару. Руки красные от воды, спина согнутая от жизни – от жизни, не от работы, потому что работа была всегда одна и та же, а жизнь менялась каждые пять лет. Двадцать лет в этой гостинице. При Брежневе мыла за болгарами – те бросали на столах порожнюю тару из-под ракии и открытки с видами Варны. При Андропове – за проверяющими, после которых не было ничего, даже крошек – проверяющие умели не оставлять следов. При Горбачёве – за кооператорами, от которых оставалось всё: объедки, бычки, визитные карточки с золотым тиснением и обещания, что скоро всё будет по-другому. Теперь вот за этими – за теми, кто оставлял конверты, пресс-релизы и вонь одеколона «Саша», который не выветривался неделями. Привыкла. К чему угодно привыкаешь, если зарплата сто двадцать и другой работы нет.

Когда вынесла последний мешок с мусором на задний двор – тёмный, заставленный мусорными баками, пахнувший кошками, прокисшей капустой и тем особенным московским холодом, который забирается под халат и остаётся в костях до утра, – сказала негромко, себе под нос:

– Господи, и эти туда же. Хоть бы пожрать по-человечески научились, прежде чем страну учить.

Рецензия, за которую никто не заплатил ни единой копейки. И, пожалуй, самая честная из всех, что появятся завтра в газетах.

* * *

В углу зала, где свет от люстры не достаёт, всё это время стоял человек. Не прятался, не выставлялся – врос в угол, как колонна или вешалка, что-то, мимо чего проходишь и не оглядываешься.

Костюм неброский – не дешёвый, не дорогой, одежда человека, не желающего оставлять следов. Лицо среднее, из тех, что встречаешь тысячами на улице и забываешь. Но глаза выдавали – внимательные, цепкие, фиксирующие каждое движение в зале.

Капитан ФСК Смирнов, отдел экономической безопасности, – послан Петровым наблюдать и делать выводы, – весь вечер простоял в этом углу, не притронувшись ни к еде, ни к коньяку – устав запрещает, а память у Смирнова была профессиональная, актёрская: актёр запоминает роли, Смирнов – лица, суммы, связи.

Выводы сложились простые и, как ему казалось, безошибочные: «Серебряному диску» конец, – не из-за этого спектакля с конвертами и бракованными дисками, а из-за того, что за ним стоит, из-за денег, которые уже вложены, и связей, которые уже задействованы, из-за машины, которая набирает ход и которую на его памяти ещё никто не останавливал.

Смирнов достал из внутреннего кармана блокнот – маленький, потёртый, с карандашом на резинке, – и написал аккуратным почерком человека, привыкшего к рапортам: «Банкротство – два-три месяца».

Он ошибся, – и ошибка была из тех, которые совершают люди, привыкшие доверять цифрам больше, чем характерам. Мальцева Смирнов оценил верно – хищник, циник, профессионал. Деньги просчитал точно, до копейки. Но упрямство – тихое, упёртое, бычье – людей, которые уже поднялись с нуля и которым отступать некуда, – в рапортах не значится, в графу не ложится, в прогнозах не учитывается, а зря, потому что человек, которому отступать некуда, иногда идёт напролом и проходит там, где по всем расчётам должен был лечь.

Война начиналась, – тихая, без выстрелов и баррикад, без танков и трансляций, – и победит в ней не тот, у кого громче пресс-конференции и толще конверты, а тот, кто дольше выдержит.

Глава 9. Четыре удара

или Война выигрывается не кулаками, а логистикой

Война – это прежде всего экономика, логистика, умение перерезать снабжение противника, пока он ещё не понял, что окружён. Наполеон проиграл не под Ватерлоо – он проиграл, когда кончился хлеб. Гитлер – не под Сталинградом, а когда кончился бензин. «Серебряный диск» убивали не на пресс-конференциях – его убивали в ресторанах, в магазинах, в квартирах, там, где принимаются решения, которые потом называют «изменившимися обстоятельствами».

Один день. Четыре удара, нанесённых одновременно. Гвозди в крышку гроба, который ещё не сколочен, но доски уже напилены.

* * *

Ресторан «Прага» на Арбате повидал царей и генсеков, революции и перестройки, войны и реформы – и переживёт этих тоже, потому что заведения, где умеют молчать, живут дольше людей, которые не умеют. Стены впитали столько тайн, что если бы заговорили, половина страны села бы, а вторая половина сбежала бы за границу.

Цены в меню указаны так, что если надо уточнять – значит, вам не по карману. Завсегдатаи никогда не спрашивают – они знают цену всему, включая человеческую преданность, – верность здесь котируется ниже устриц, а те стоят триста долларов за дюжину.

В зале стоял особый дух – французские духи, кубинские сигары, свежие цветы на столах и деньги, много денег, очень много денег. Запах власти и вседозволенности, от которого кружится голова сильнее, чем от любого алкоголя. В «Праге» он был концентрированным, как эссенция, – разбавлять не умели и не хотели.

За столиком у окна – двое. Не лучшее место, но и не худшее, – среднее, для переговоров, которые должны выглядеть непринуждёнными, хотя в «Праге» ничего непринуждённого не бывает. Официант – пожилой, с седыми висками, из тех, что помнят ещё Хрущёва – обслуживал молча, профессионально, с тем отсутствующим выражением лица, которое вырабатывается годами: я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не помню. Потом, дома, он расскажет жене: «Видел, Люсь, как человека продают. Оптом, как мясо на рынке. Только мясо дешевле – за мясо хоть торгуются, а этот сразу согласился».

По соседству компания праздновала что-то – громко, с тостами, с хохотом, с чоканьем бокалов. Бритые затылки, малиновые пиджаки, девочки-модели с пустыми глазами и полными тарелками. Один из них, самый громкий, швырнул официанту стодолларовую купюру – «сдачи не надо, братан!» – и официант поклонился с достоинством английского дворецкого, подобрав купюру с ловкостью одесского карманника. Новые деньги, новые манеры, новая Россия. Чехов бы застрелился повторно.

Алёна, помощница Мальцева по особым поручениям, из тех, кого в шоу-бизнесе прозвали «казанскими сиротами» – молодые, голодные, злые, готовые на всё ради карьеры, готовые переступить через кого угодно, включая себя вчерашнюю. Откуда они брались – никто не знал. Появлялись ниоткуда, как грибы после дождя, – и горе тому, кто оказывался у них на пути.

Костюм бордовый, не дорогой – турецкий рынок, но сидит как влитой. Не костюм делал эту женщину опасной – глаза. Холодные, оценивающие, от которых Мишин, сидевший напротив, чувствовал себя мелкой рыбёшкой перед щукой.

Напротив – Мишин. Тридцать три года, а выглядел на все шестьдесят – мешки под глазами, седина в висках, руки дрожали, когда он брал бокал. Человек с голосом и без денег – комбинация смертельная для артиста. Голос остался, а деньги кончились. Дипломы остались – целая стена в квартире, красные корочки с золотым тиснением, – а гастроли отменялись одна за другой: «в связи с экономическими трудностями», «в связи с реорганизацией» – всегда «в

связи с», универсальная формула отказа, за которой прячется простая правда: ты больше не нужен.

На столе перед ним – устрицы, которых он не ел (не любил, но как откажешься, когда угощают?), шампанское, которое он пил (это любил, особенно когда бесплатное), и страх, – его он не пил и не ел, просто чувствовал, как чувствуют приближение грозы.

– Но я же обещал Валере… – Мишин мял салфетку, белую, накрахмаленную, с вензелем ресторана, мял так, будто это могло спасти его от решения, которое он уже принял, только ещё не признался себе в этом. – Он меня создал. Вытащил из Воронежа, когда я пел на свадьбах за двадцать рублей. Дал первый концерт. Первую запись. Первый…

– Первый, – Алёна кивнула, и в её голосе было понимание врача, который выслушивает жалобы пациента, зная, что диагноз уже поставлен и лечение бессмысленно. – Это было когда, Валерий Аркадьевич? Десять лет назад? Пятнадцать? А что он сделал для вас за последний год?

Она взяла устрицу – живую ещё минуту назад, мёртвую сейчас, под каплей лимонного сока, – и отправила в рот, проглотив, не жуя, – метафора, которую Мишин не прочитал, а зря, – он был следующим.

– Гонорары платит? Вовремя?

– Ну… были задержки…

– Задержки. – Она снова кивнула, и в этом кивке было всё: и понимание, и сочувствие, и безжалостность. – А знаете, сколько артистов ушло от Положенцева за последний месяц? Семь. Знаете, сколько уйдёт за следующий? Ещё десять. Знаете, что будет через полгода? Ничего не будет. Ни «Серебряного диска», ни студии, ни контрактов. А вы останетесь со своей благодарностью и со своими воспоминаниями о том, как вас «создали».

Она достала конверт – белый, плотный, без надписей – и положила между приборами, буднично, обыденно, как кладут сдачу в магазине. Сто тысяч долларов – годовой бюджет провинциального детского дома и цена человеческой верности.

– Сто тысяч… – Мишин смотрел на белый прямоугольник между приборами, не решаясь прикоснуться, – страшно, но оторваться невозможно. – Прямо сейчас?

– Прямо сейчас. Аванс. Столько же – когда запишете альбом. И десять процентов от продаж – это больше, чем давал вам Положенцев, и вы это знаете.

– А Валера? Что я ему скажу?

– Правду. Что вам нужны деньги, а он их не платит. Что у вас семья, дети – им нужно есть, им нужно учиться, им нужно жить. Это не предательство, Валерий Аркадьевич, – это арифметика. Предательство – это когда есть выбор. А у вас выбора нет.

Мишин взял ручку – «Паркер», золотое перо, подарок от Мальцева, переданный через Алёну вместе с контрактом. Рука дрожала, но подпись вышла разборчивой – Иуда тоже наверняка расписывался красиво, когда получал свою цену.

– Приятно иметь дело. – Алёна подняла бокал, и в её улыбке не было торжества – только профессиональное удовлетворение от хорошо выполненной работы. – За сотрудничество.

Шампанское было французское, настоящее, «Вдова Клико», урожая восемьдесят пятого. Но послевкусие всё равно было горьким – не у Алёны, у неё послевкусие было сладким, вкусом победы. Горьким – у Мишина, который понимал, что только что продал то, что нельзя продавать. И купил то, что нельзя купить.

Темнело. Арбат зажигал огни. Москва жила своей жизнью, равнодушная к чужим трагедиям, к чужим предательствам, к чужим тридцати сребреникам.

* * *

Воскресенье, два часа дня, и магазин «Мелодия» на Новом Арбате – бывший храм советской грамзаписи, бывший собор винила и кассет, бывшее святилище меломанов – переживал нашествие.

Когда-то тут стояли в очередях за дефицитом – за «Битлз» и «Роллинг Стоунз», продававшимися из-под прилавка, за Высоцким, которого официально не было, но все знали, что есть, за записями, ходившими из рук в руки, как самиздат, как пропуск в другой мир. Теперь очередей не было – было изобилие, полки ломились от дисков, кассет, CD в блестящих коробках, всё, что хочешь и можешь оплатить, вот только денег ни у кого не было – парадокс эпохи: товаров навалом, а покупателей нет.

У входа – стенд «Русской музыки». Яркий, глянцевый, с подсветкой и вращающимися витринами. Две девочки в мини-юбках – длинноногие, крашеные, с улыбками, приклеенными намертво – раздавали листовки и флаеры с лозунгами про «новую эру российской музыки» и «качество, достойное Запада» – лозунгами, которые ничего не значили, но красиво звучали.

Две подруги у полки. Обеим по восемнадцать, обе одеты по лекалам MTV – рваные джинсы, топики с надписями на английском, серёжки в пупках. Новое племя – для них главным было не то, что ты слушаешь, а то, как ты выглядишь, когда слушаешь.

– Смотри, какой диск! – блондинка держала в руках новинку «Русской музыки»: голограмма на обложке, фотосессия артистки в полный рост, качество печати – глянцевое, журнальное. – Буклет шестнадцать страниц! И голограмма! Настоящая!

– А это что за хлам? – брюнетка ткнула пальцем в соседнюю полку, где пылился диск «Серебряного диска». Обложка попроще, вместо шестнадцати страниц – жалкие четыре, никаких голограмм.

– Фу. Это для нищебродов. У Ленки брат такой купил – его в школе месяц чмырили.

– А песни разве не те же?

Блондинка посмотрела на подругу с тем выражением, с каким смотрят на спросившего, зачем нужна косметика:

– Ты совсем дура? Дело не в песнях. Дело в том, как ты выглядишь, когда держишь это в руках. Представь: ты приходишь на вечеринку, а у тебя диск с голограммой, в офигенном буклете. И представь: ты приходишь с этим… – она брезгливо кивнула на «Серебряный диск». – Разницу чувствуешь?

Мимо прошёл парень – высокий, кожаная куртка, «Мальборо» в зубах. Блондинка проводила его взглядом, машинально поправила топик, втянула живот. Брюнетка толкнула локтём: «Рот закрой, муха залетит». Обе захихикали – и тут же забыли и про диски, и про голограммы, и про «Серебряный диск», – в восемнадцать лет всё забывается быстро: обиды, клятвы, торговые марки. Только парни помнятся долго, да и то не все.

Содержание больше не значило ничего. Упаковка победила. Голограмма, которая ничего не защищает, но красиво переливается на свету, оказалась важнее музыки, ради которой всё и затевалось. Эпоха сменилась – и сменила правила, не спросив разрешения.

В подсобке, за дверью с табличкой «Служебное помещение», директор магазина беседовал с представителем «Русской музыки». Директор – мужчина лет пятидесяти, с животом, с залысинами, с потухшими глазами – двадцать лет торговал пластинками и давно усвоил, что музыка – это музыка, а бизнес – это бизнес, и одно с другим не смешивается, как масло с водой.

– Значит, так, – представитель, молодой, в костюме, с портфелем, говорил деловито, без эмоций, как говорят о погоде или о курсе доллара.

– С каждого проданного диска – два доллара лично вам. Еженедельно. Наличными. Без расписок, без отчётности, без вопросов.

– А с «Серебряного»?

– У них проблемы. – Представитель достал конверт, положил на стол между коробками с кассетами. – Это аванс. Пятьсот. Чтобы их продукция стояла… не на виду. Лучше – в подсобке. Совсем лучше – нигде.

Пятьсот долларов – месячная зарплата директора магазина. Столько он получал официально, по ведомости, с подписью и печатью. Столько – за то, чтобы приходить на работу,

открывать магазин, закрывать магазин, разбираться с поставщиками и покупателями, отвечать перед начальством. Теперь ему предлагали столько же – за то, чтобы переставить товар с одной полки на другую. Арифметика, против которой не возразишь.

– Договорились.

Они пожали руки – коротко, по-деловому, без лишних слов. Представитель ушёл, а директор остался сидеть, глядя на деньги, потом пересчитал – привычка, от которой не избавишься, – пятьсот, всё на месте, и убрал во внутренний карман пиджака, к сердцу. Жена хотела стиральную машину – немецкую, «Бош», четыреста долларов в Лужниках. Сотня останется. На сотню можно дочке сапоги, те, финские, присмотренные на рынке, – обещал купить к весне, а весна вот она, и обещания надо выполнять, иначе какой ты отец. Совесть? Совесть он оставил в подсобке, на нижней полке, рядом с чужими дисками. Туда ей и дорога.

Через час продукция «Серебряного диска» переехала из центра зала в дальний угол, на нижнюю полку, туда, где покупатели почти не бывают. А через неделю переедет дальше – в подсобку, а оттуда – на свалку. В этой войне побеждает не тот, кто лучше, не тот, кто честнее. Побеждает тот, кто платит за полку.

* * *

Типовая трёшка в панельной девятиэтажке – таких в Москве миллион, таких по всей России – десятки миллионов. Стенка «Хельга» – югославская, когда-то считавшаяся роскошью, теперь – символ бедности. Ковёр с оленями на стене – советская традиция, которую молодёжь не понимала. Хрусталь в серванте – богемский, привезённый из турпоездки в Чехословакию в восьмидесятом, теперь пылился без дела – гостей звать некого, да и угощать нечем.

Музей эпохи, которая ещё не поняла, что закончилась. Мавзолей мечты о «светлом будущем», которое так и не наступило.

Семья у телевизора – вечерний ритуал, не менявшийся десятилетиями. Отец – Виктор Степанович, инженер, пятьдесят два года, с газетой в руках, – газету он не читал, а держал щитом. Мать – Нина Павловна, учительница, сорок восемь лет, с вязанием в руках, хотя вязать давно разучилась, но спицы успокаивали, создавали иллюзию занятости. Дочь – Катя, пятнадцать лет, с ультиматумом в голосе.

На кухне свистел чайник – тонко, пронзительно, и никто не вставал – вставать не хотелось, а чайник свистел каждый вечер, и к нему привыкли, как привыкают к зубной боли, к пустому холодильнику, к жизни, которая идёт не туда. Кот Барсик спал на батарее, свернувшись калачом, – он один в этой квартире не замечал перемен, – коты живут в вечном настоящем, и это, пожалуй, главное преимущество кота перед человеком.

– Мам, купи мне диск «Русской музыки»!

Голос требовательный, капризный, из тех голосов, которые не принимают отказа.

– На прошлой неделе покупали, – мать не поднимала глаз от вязания.

– То был «Серебряный диск»! – дочь произнесла это с таким отвращением, будто речь шла о тараканах. – Фу! Это позор! В школе засмеют!

– Чем тебе не угодил? – отец опустил газету. – Песни же те же самые. Те же артисты, те же слова, та же музыка.

– Пап, ты ничего не понимаешь! – в голосе дочери было раздражение взрослого, объясняющего очевидные вещи тупому ребёнку. – Это совершенно разные вещи! У «Русской музыки» – голограмма! Буклет на шестнадцать страниц! У Машки такой, у Светки такой, у всех такой! А я что, буду с этим ходить?!

Она ткнула пальцем в диск на полке – «Серебряный диск», купленный неделю назад, ещё в целлофане, ни разу не слушанный.

Отец посмотрел на дочь – и не узнал. Это была не его дочь. Это была какая-то другая девочка, чужая, незнакомая, с чужими ценностями, с чужим языком, с чужим взглядом на мир. Его дочь – та, которую он помнил – радовалась книгам, любила читать, ходила с ним в музеи,

слушала, как он объяснял про картины и скульптуры. Эта – хотела голограмму на обложке, и обе были одним человеком, и это было страшнее всего.

– А куда дела старые диски?

– Выбросила.

– Выбросила?! – отец привстал. – Там на шестьдесят долларов было!

– Пап, это твои проблемы. – Дочь пожала плечами. – Ты же мне их подарил. Значит, они мои. А раз мои – делаю что хочу.

Родители переглянулись – молча, как переглядываются люди, понявшие, что война проиграна. Не сражение – война. Вся война целиком, со всеми фронтами и тылами.

– Ладно, – мать отложила вязание. – Куплю.

– Мы её так воспитывали? – отец повернулся к жене, когда дочь вышла из комнаты, унося с собой победу.

– Мы её воспитывали при Советах, Вить. – Голос матери был усталым, бесцветным. – А живёт она при капитализме. Мы учили её, что главное – содержание, а не форма. А вокруг неё – мир, где главное форма, а содержание никого не интересует. Мы проиграли. Не ей – времени. Не ей – эпохе. Не ей – всему этому…

Она махнула рукой – неопределённо, в сторону окна, за которым была Москва, Россия, мир.

– И что теперь?

– Теперь – покупать диски с голограммами. И радоваться, что просит диски, а не наркотики.

В квартире напротив тоже горел телевизор, и там тоже, наверное, шёл этот разговор – или похожий. Миллион квартир, миллион семей, миллион проигранных войн, и эпоха менялась, меняя людей вместе с собой, не спрашивая разрешения и не извиняясь.

* * *

Воскресенье, за полночь. Офис «Серебряного диска» погружён в темноту – только в одном кабинете горит свет, тусклый, настольная лампа, и ещё телевизор, голубоватое мертвенное сияние.

Валера сидел один.

За стеной, в пустом коридоре, капала вода из неисправного крана – ритмично, монотонно, отсчитывая секунды, как метроном в пустом зале. На подоконнике стоял стакан с остывшим чаем – Елизавета заварила перед уходом, часов в восемь, и ушла, и чай остыл, и пенка на поверхности затянулась, и никто его не выпьет, – чужая забота – скоропортящийся товар.

Капитан на тонущем корабле, которому некуда идти и некуда деваться – не потому что герой, герои бывают в книжках, а потому что берега не видно, и за шесть лет строительства этой компании он так и не научился тонуть.

На столе – стопка писем, все одинаковые, все за последнюю неделю: белые конверты, официальные бланки, подписи и печати.

«В связи с изменением обстоятельств вынуждены уведомить…»

«Благодарим за плодотворное сотрудничество, однако в сложившейся ситуации…»

«С сожалением сообщаем о расторжении контракта…»

Канцелярский язык предательства. Язык, на котором написаны все отказы и все разрывы, все «нет» и все «больше не можем». Придуман специально для того, чтобы не называть вещи своими именами. Чтобы предательство называлось «изменением обстоятельств». Чтобы трусость – «сложившейся ситуацией». Чтобы удар в спину – «сожалением».

На экране телевизора – Мальцев. Интервью какому-то каналу, какой-то программе, какому-то журналисту с дежурным лицом.

«Мы не конкуренты «Серебряному диску», – Мальцев улыбался в камеру той самой улыбкой удава, уже знакомой Валере наизусть. – Они – любители, когда-то вовремя оказавшиеся в нужном месте. Мы – профессионалы, пришедшие всерьёз и надолго».

Валера выключил телевизор. В чёрном экране – отражение: трёхдневная щетина, недельные мешки под глазами, взгляд того, кого жизнь ударила под дых и который ещё не отдышался.

На столе – отчёты, и цифры в них были такие, что хотелось выть: минус шестьдесят процентов продаж за неделю, минус сорок за предыдущую – кривая, падавшая вниз, как самолёт с отказавшими двигателями.

Рядом – письма от артистов, семь штук, по одному предательству в день, как в страшной сказке. Мишин – тот самый, которому дал концерт, запись, шанс, – тоже прислал бумажку: «обстоятельства изменились», и да, обстоятельства действительно изменились – появились сто тысяч долларов в конверте.

Деньги от немцев, которые пришли три месяца назад и казались спасением, – проедены. Полтора миллиона, которые Сергей привёз из Челябинска, – растаяли, ушли на зарплаты, на аренду, на производство, на попытки удержаться на плаву, когда вода уже по горло.

Где Сергей? Вернулся из Челябинска, отдал деньги – и исчез. Не ушёл, не уехал, не послал к чёрту – просто исчез, растворился, перестал отвечать на звонки и появляться в офисе. Шесть лет партнёрства, шесть лет плечом к плечу – — и тишина: слово «партнёр» имеет срок годности, как молоко, и молоко, похоже, скисло.

Валера налил коньяк – армянский, не «Хеннесси», экономия начиналась с мелочей, – выпил, не почувствовав вкуса, налил ещё и снова не почувствовал – вкус отключается, когда голова занята подсчётом потерь. Батарея гудела – мартовская ночь, отопление работало натужно, как всё здесь. Где-то наверху хлопнула дверь, потом – смех, женский, пьяный, счастливый. Кто-то в этом здании жил нормальной жизнью. Или притворялся.

Достал блокнот – новый, чистый, купленный вчера специально для этого – нужна была хоть какая-то стратегия, план действий, что-то, за что можно зацепиться и от чего оттолкнуться.

Страница смотрела на него белым прямоугольником, и он смотрел на неё, и никто не моргал первым.

Что у него есть? Денег почти нет, студия своя, но что толку от студии без артистов, связи тают, как тот же снег в марте, а репутация уже работала против него – в этом городе слухи распространяются быстрее гриппа.

Страница осталась пустой – ни слова, ни идеи, ни плана.

Светало, и Москва просыпалась – тусклая, холодная, безразличная, город, который берёт всё и не даёт ничего, кроме одного-единственного шанса.

Валера затушил сигарету – пятую за ночь, или шестую, он не считал – и остался стоять у окна, глядя на просыпающийся город, убеждая себя, что проиграть битву не значит проиграть войну, что нужно собраться, встать, начать заново, что…

Хотя в эту минуту, в этом пустом кабинете, в сером рассвете, под небом, не обещавшим ничего хорошего, он и сам не очень верил в то, что думал. Но верить было нужно, – без веры оставалось только одно – сдаться, а сдаваться он пока не умел.

Глава 10. Очередь предателей

или Естественный отбор по Дарвину

В приёмной Мальцева было не протолкнуться – и это само по себе говорило о многом, говорило громче любых слов и красноречивее любых цифр, громче биржевых сводок и аналитических записок, которые Мальцев никогда не читал, потому что умел читать людей, а люди – лучший индикатор рынка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.